

246

ГРАНИ

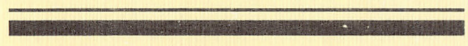
GRANI

Г
Р
А
Н
И

246

2013

2013



Avril – Juin

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Зоя Калинина, **Франция**
Геннадий Николаев, **Германия**
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–
Сан-Франциско**

Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXVIII

№ 246

2013

СОДЕРЖАНИЕ

«Бог не препятствует богоборчеству человека...» 5

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Тамара ЖИРМУНСКАЯ.

«Дай, жизнь, отслужить твоё чудо...» Белла Ахмадулина 6

ПУБЛИЦИСТИКА

Олег ВОРОБЬЕВ.

Чего так боятся эти люди? 41

Оружейная «свобода» в Китае и не только 48

Наум КОРЖАВИН.

Опыт внутренней биографии 61

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Наум КОРЖАВИН.

«...И верность собственной звезде». Стихи 85

Ирина КОРНИЛОВА-БАСОВА.

«...Озарённая мигом свободы». Поэтический цикл 93

Генрих БЁЛЛЬ.

Тогда в Одессе. Перевод В. Шубина 101

Людмила АГЕЕВА. Дети счастливого Дома	107
Ольга ПОСТНИКОВА. «...В незнание мы бессмертны». <i>Стихи</i>	119

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Борис ЕВСЕЕВ. Русское каприччо.	124
Ехал на Птичку Иван Раскоряк...	138

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Глеб ВАСИЛЬЕВ, Галина НИКИТИНА. О Тихоне Чурилине, Ходасевиче и других	157
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

о. Владимир ЗЕЛИНСКИЙ. Гегель и государство абсолютного субъекта	164
---	-----

НАСЛЕДИЕ

Виктор ФИШМАН. Рисунки Дюрера для фюрера	193
---	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Анна ТРУШКИНА. Неслыханная простота	205
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наталья БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА. Обыкновенная история Людмилы Лукомской	220
<i>Коротко об авторах</i>	231

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема — «Парус»
Художник И. Иогансон*

...Бог не препятствует богоборчеству человека, Он позволяет ему осуществить сполна все задуманное и Сам становится вольной жертвой его.

Он дает распять Себя человеческой свободе и тем самым — изнутри — покоряет ее. С высоты Креста — со дна Освенцима и ГУЛага — неслышно доносится весть о Его победе.

Думали, что XX век будет тем или еще чьим-то веком, но он, как и вся человеческая история, оказался лишь веком Христа.

о. Владимир Зелинский

Тамара Жирмунская

«Дай, жизнь, отслужить твоё чудо...»

*На наше куриное подворье
залетела райская птица.
И вот её больше нет...*

Десятого апреля две тысячи двенадцатого года Белле Ахмадулиной исполнилось бы семьдесят пять лет. Довольно редкий случай, когда имя поэта не требует никаких приложений, ни единого эпитета. Оно известно всем, кто прикоснулся к современной русской поэзии.

Вероятно, она была послана в наш несовершенный мир, чтобы придать ему немного больше гармонии, нежности и любви...

«Девочки! Давайте встретимся после лекций, почитаем друг другу стихи...»

Нам по восемнадцать–девятнадцать лет. Мы с Ларисой Румарчук окончили школу в пятьдесят третьем, Белла и Юнна — в пятьдесят четвертом. Почему же они отстали на два курса? Все очень просто. Правила приема в Литературный институт ужесточились. После десятого класса и раньше принимали с трудом. Мол, только что вылупились из яйца, жизни не нюхали, о чем, спрашивается, будут писать?

Нам с Лорой, можно сказать, повезло — проскочили. А теперь требуется производственный стаж. Как там, у Маяковского: поэт сперва попашет, потом напишет. Есть ли он у наших новых знакомых? У этой, пепельноволосой, с косой, уло-

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

женной на голове венком? У другой, с темно-каштановыми косами, пущенными по спине? Мы их не выспрашиваем. Хочется поскорее услышать их стихи.

...Ранняя осень. Сидим в институтском сквере, где, кроме нас, ни души. За спиной – учебное здание, в котором родился Александр Герцен. Слева – какие-то службы. Справа – малоэтажные дома, частично заселенные писательскими семьями, частично выделенные под студенческое общежитие.

Прямо перед нами свежеокрашенная к началу учебного года зеленая металлическая ограда, за ней Тверской бульвар. Студенты, снующие туда-сюда, прочая публика нас не касаются. Мы – в поэтическом вакууме. Первой читает Юнна Мориц:

*Посмотрела искоса на брата,
Приколола астру к волосам.
И сказала маме виновато:
«Я вернусь к одиннадцати часам»¹.*

Милые строки! Особенно это: «вернусь к одиннадцати часам». Не к двенадцати, «золушкиному» сроку, а к «детскому» времени: на час раньше. Я, на правах старожилки, одобрительно говорю ей об этом. Коллега отмечает мои похвалы:

«Это плохие стихи, старые стихи. Тут вообще не о чем рассуждать!» Самобичевание продолжается довольно долго. Потом, уступая нашим просьбам, Юнна читает еще и еще. Новые стихи кажутся мне ненужно усложненными. Идут мимо сердца. Но я помалкиваю. Обойдемся без комментариев...

Сама Юнна не в духе. Приехала из Киева вместе с матерью, которая завтра уезжает обратно. Не в этом ли причина ее мрачности, плохого настроения? И еще... у нее почти ослеп отец. Возила его по разным врачам. Помочь ему не смогли. О своей жизни рассказывает скупно. Видно, боится, что ее пожалеют...

¹ Ранние стихи Ю. М. и Б. А. Цитирую по памяти – Т. Ж.

Очередь за Беллой:

*У мальчишки украли одиннадцать нужных рублей.
Кто-то рядом стоял и растаял в толпе, словно ветер.
А мальчишка задумался об очень большом корабле.
Он ничего не заметил...*

Как это просто, сердечно, знакомо-незнакомо! С какой самоотдачей читается нам! Смотрю на Беллу — и ничего не понимаю: печальные карие глаза и маленький, румяной подковой, улыбчивый рот. И вся она какая-то «ренуаровская», не худенькая, отнюдь. Какая же? Прелестная, в своем чуть избыточном телесном совершенстве. От молодости, от начавшегося расцвета, что не скоро еще кончится, от готовности вобрать в себя всю красоту, все приманки мира, все назвать по-своему, все оживить и всем поделиться...

Потом читали свое мы с Лорой, но о себе ничего не помню. Ни что выбрала, ни что говорила обо мне Белла. Настолько была заполнена ею, ее вибрирующим, на грани срыва, голосом, ее берущей в плен интонацией.

С легкой руки Константина Ваншенкина, автора популярного стихотворения «Мальчишка», многие молодые стихотворцы набросились тогда на это еще не заезженное слово как на легкую добычу. И все равно стих Беллы запал мне в память. Ни в один свой сборник она его потом не включала, видимо, сознательно избегая даже намека на трафарет. Я же привела его, чтобы обозначить стартовую площадку, с которой она начинала, подымаясь все выше и выше, размыкая, как по наитию, круг своих тем, оттачивая стихотворный инструментарий, становясь не «одной из...», а только самой собой, Беллой Ахмадулиной...

С чего началось ее восхождение? Может быть, с этого страстного прорыва:

*Как бы мне позвать, закричать?
В тишине всё стеклянно хрупко.
Голову положив на рычаг,*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

*крепко спит телефонная трубка.
Спящий город перешагнув,
я хочу переулком снежным
подойти к твоему окну
очень тихо и очень нежно.
Я прикрою ладонью шум
зазвеневших капелью улиц,
я фонари потушу,
чтоб глаза твои не проснулись...*

Евгений Евтушенко, бывший к тому времени на четвертом курсе, написал о встрече со своей судьбой в свойственной ему сугубо реалистической манере:

*О, институт, спасибо, друг, тебе
за эту встречу в этом сентябре.
Хожу по коридору твоему
и не скажу ни слова никому.*

*Девчата наши подошли к окну,
глядят на первокурсницу одну:
«Воображает, сморщила лицо!»
«И, — девочки, — безвкусное кольцо!»
«Бедняжка, — некрасивая она».
«Нет, ничего, но слишком уж полна...»
Я улыбаюсь, прислонясь к стене.
Им не понять, как ты красива мне.*

Через несколько дней Лариса Румарчук, дружившая с Евтушенко с первого курса, повела меня к нему познакомиться поближе.

Жил он тогда на Четвертой Мещанской, на первом этаже невысокого дома выходом во двор, с мамой Зинаидой Ермолаевной и младшей сестрой Лелей. Про милейшую Лельку, как называл ее брат, я знала из поэмы «Сегодня мне двадцать»: «Она у меня Победы ровесница, /Ей в школу в этом году». Мама была еще красива, гостеприимна, снисходительна к однокашницам сына. И сам Женя в домашнем окружении предстал перед нами совершенно иным, чем держался в институте: доступным, веселым, заинтересованным.

В нашем творческом вузе его недолюбливали. Не все, конечно, а так называемое «серое большинство». Отрицательное отношение просачивалось в пародии: *«На Четвертой, на самой мещанской, / Я в облупленном доме живу»*. За высокий волейбольный рост какой-то остряк назвал его в стенгазетном стишке «дЯдина», и, хоть ближайшее созвучие легко угадывалось, предложил читателю, ждущему рифмы, свое нехилое изобретение: «дадена». Я уж не помню, что было им «дадено» Евгению Александровичу. То ли малая скромность, то ли самовлюбленность. Но уж никак не талант, которым был наделен двадцатитрехлетний Евтушенко.

В тот наш визит Женя щедро угощал нас своими и чужими стихами. Покаялся, что сегодня прогулял лекции, но зато...лукавая улыбка... за один день сочинил три стихотворения. Одно из новых, «Бывало, спит у ног собака...», до сих пор любимой мной.

В числе многих других были им прочитаны и стихи о волнующей встрече с какой-то таинственной девушкой. Помнится, мы с Лорой шли домой и все гадали: о ком это?

«Мой институт...» он от нас скрыл, а может, написал его позже. Неопровержимых улик у нас не было. Это было в духе нашего товарища: заинтриговать слушателя, заставить работать его смекалку.

Но вскоре все открылось. Я шла в институт. А из-под щепочки, неплотно соединявшей две половинки входных ворот, навстречу мне вынырнули, один за другим, счастливые Белла и Женя. Ни я, никто третий не были им нужны. Они распространяли вокруг себя ауру свершившихся надежд, довольства жизнью, что оказалась щедрой на что-то неожиданно большое. Не часто мне доводилось быть свидетелем такой полноты и законченности.

О моменте счастья, схожем с моментом истины, Белла пишет:

*Ах, Господи, как в это лето
покой в душе моей велик.
Так радуге избыток цвета*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

*желать иного не велит.
Так завершённая окружность
сама в себе заключена
и лишнего штриха ненужность
ей незавидна и смешна.*

И неважно, что это из лирического цикла, посвященного другому избраннику...

Объекты могут меняться. У натур, одаренных свыше меры, они меняются быстро, как кадры перенасыщенного сюжетами и персонажами фильма. Но судим мы о картине суммарно: хороша или нет, выдержал герой или героиня свою роль до конца или сошел с круга. И, если фильм в целом получился, лучшие кадры остаются со зрителем навсегда. Так остались во мне эти двое, принагнувшиеся под воротной цепочкой...

В журнале «Октябрь» вышла подборка стихов Ахмадулиной. Некоторые из ее опубликованных первенцев памятливы мне до сих пор: «Ель», «Черный ручей»... Каким словом определила бы я их неотъемлемое свойство? Наверное, первозданность. Пришла в русскую поэзию, полную до краев кипучим лиризмом, девушка, почти девочка, и начала все открывать заново, без напряжения, без тугодумия, протирая, как стеклышки очков, подслеповатые глаза современников, приглашая их вместе с ней порадоваться нескудеющему празднику жизни:

*В деревне его называют Чёрным,
я не знаю, по выдумке чьей.
Он, как все ручейки, озорной и проворный,
чистый, прозрачный ручей.
В нем ходят, кряхтя, косолапые утки,
пёрышки в воду роняя свои.
Он льётся, вокруг расплескав незабудки,
как синие капли своей струи...*

«Романтик чистой воды» — говорилось о таких. Но это был только первый пласт богатейших залежей ее души.

В Литинституте установили динамик, и на переменах можно было слушать выступления студентов, их сердечные

откровения, их поэтические пикировки, причем честь «получить микрофон» выпадала далеко не всем, а только избранным. Белла Ахмадулина и Женя Евтушенко попали в их число.

Белла:

*Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белую, навесной,
застенчивой фатой,
чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
за здоровье молодых...*

Женя:

*Обидели. Беспомощно мне. Стыдно.
Растерянность в душе моей, не злость.
Обидели усмешливо и сыто.
Задели за живое. Удалось.
Хочу на воздух! Гардеробщик сонный
даёт пальто, собрания браня.
Ко мне подходит та, с которой в ссоре.
Как долго мы не виделись! Три дня!
Молчит. Притих внимательно и нервно
в руках платочек белый кружевной.
В её глазах заботливо и верно...
Мне хочется назвать её женой.*

Белла:

*Жилось мне весело и шибко.
Ты шёл в заснеженном плаще,
и вдруг зелёный ветер шипра
вздвигал косынку на плече.*

Только высокий градус тяги друг к другу — тот тигль, где преобразуется все, даже поэтический язык. Без этого едва ли был бы возможен восхитивший когда-то Василия Аксенова

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

дерзкий образ Беллы Ахмадулиной: «...и вдруг зелёный ветер шипра/вздымал косынку на плече...»

Надо было любить это плечо, этот плащ, эту косынку, чтобы так увидеть и так написать...

Женя:

*Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладёт
и у другой меня крадёт.
А той, скажите Бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та, у которой я украден,
в отместку тоже станет красть...*

Белла:

*Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжёлая,
а вышло так: ты просто враль,
и вся игра твоя — дешёвая...
...Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.*

Этим, сначала прозвучавшим по институтскому радио, а потом напечатанным в журнале «Юность» и быстро облетевшим ровесниц и ровесников стихотворением, Белла как будто подводила черту их отношениям. Женя выдвигал против нее другие обвинения, призвав в союзники свой возраст, свой социальный опыт, свою разгоравшуюся славу, наконец. Несколькими годами и известностью он превосходил неробкую первокурсницу:

*Эта женщина любит меня,
но канатов к другому не рубит.
Эта женщина губит меня
тем, что любит она как не любит.*

*...Что ей строгих товарищей суд!
 Чёрт возьми — она самородок!
 И её, восторгаясь, несут
 пароходы и самолёты...*

Что-то не вытанцовывалось с продолжением так бурно начавшегося романа у наших первых лириков — первых не только в институтском масштабе...

Особняком стоит еще одно стихотворение Беллы явно того же периода, до разрыва, но на грани его. Стражники идеологических границ по обе стороны железного занавеса умудрились записать его в антисоветские. В «Комсомольской правде» появился фельетон «Чайльд Гарольды с Тверского бульвара», где с возмущением (лишние люди! отщепенцы!) цитировалось это, нигде еще не опубликованное лирическое признание, точно кто-то выкрал у автора черновик. А на Западе оно попало в сборник оппозиционных стихов советских поэтов «Поиски правды», причем только первые шесть строк (!)

О, холодная война! Твои служители теряли остатки разума...

«Криминальное» стихотворение долго ходило по рукам. Записываю его так, как мне запомнилось. Точки означают не что иное, как провал в моей памяти.

*Мы идём усталые,
 руки холодны,
 мы с тобою старые,
 словно колдуны,
 мы с тобою лишние
 в молодом лесу.
 Пробежали лыжники —
 палки на весу.
 Гнёзда, птицей свитые
 стьнут по весне.
 Парень в белом свитере
 улыбнулся мне.

 Жаль, что я не лыжница
 и люблю тебя.*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

Может быть, не все эти стихи звучали тогда по институтскому радио. Эти же первыми всплыли в памяти, окликнутые моей любовью и печалью. Одно помню хорошо: динамика отношений была отрицательной. Чувства остывали, краски выцветали.

Не знаю, как ныне воспримутся живые переживания двух молодых людей, ставшие стихами. Теперь это не модно. Теперь — чем заковыристей, чем отвлеченнее, тем лучше. Плотское возбуждение взамен озноба любви, нечто, имитирующее кровавые тельца, вместо кровотока из «вскрытых жил» — по словам Марины Цветаевой, рожают соответствующую продукцию. Она-то и вершит бал на синтетической ниве поэзии.

Обывательское утверждение, что за спиной умной женщины надо искать умного мужчину, в случае Беллы и Жени как будто не срабатывает. Но уверена, оба они многое почерпнули друг у друга. Сама наступательная, как будто рвущая финишную ленточку манера чтения стихов, не свойственная Белле, какой я ее запомнила в нашу первую встречу, перешла к ней, по моему мнению, от Евгения Евтушенко. Разумеется, она ее смягчила, сделала более женственной, но победоносное сочетание «ян» и «инь» было налицо. Опять воспреобладала полнота, то есть то, за чем многие безуспешно гонятся всю жизнь, не всегда отдавая себе отчет, чего же им не хватает.

Романтик романтиком, лирик лириком, но со второй половины пятидесятых годов в Белле отчетливо проступило, как кровь на бинте, гражданское начало. И это, я полагаю, тоже не без влияния Евтушенко. Но сначала он братски поделился с ней своей эрудицией, своим безбрежным знанием русской поэзии, своей смелостью. Да, да, смелостью! Вспоминаются не только «Бабий яр», не только «Танки идут по Праге» — в доперестроечные времена именно он, едва ли не единственный из широко известных поэтов, громогласно отказывался мириться с омертвлением общественной жизни. А Белла оказалась его способной ученицей.

*Впрочем, себя он смелым не считал:
Мне говорят — ты смелый человек.
Неправда. Никогда я не был смелым.*

*Считал я просто недостойным делом
Унизиться до трусости коллег.
Устоев никаких не потрясал,
Смеялся просто над фальшивым, дутым.
И говорить старался всё, что думал...*

Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год. Февраль. В институте объявлена дискуссия «Поэзия и общественная жизнь». Студенты сгрудились в небольшом конференц-зале. Тут почти в полном составе наш четвертый, третий, второй и первый курсы. Пятый, выпускной, готовит дома дипломы, никого из знакомых не вижу. За столом в голове зала — наши мэтры. Одни насуплены, как на экзамене. Другие, например, Михаил Светлов, улыбаются. Мы, разновозрастная аудитория, с ними лицом к лицу.

Вот из рядов вышла Белла. Вряд ли вызвалась первая, хотя по характеру могла. В памяти моей именно она — застрельщица дискуссии. Взволнованная, с трепещущим голосом, убедительная. Ей — двадцатый год.

Наша литература, говорит она, имеет две стороны. Первая сторона — внутренняя. Тут все в порядке. Одно то, что в ней работают Ахматова, Пастернак (называет еще несколько достойных фамилий) говорит о полном благополучии. Но есть еще внешняя сторона... И все тем же напряженным голосом она начинает ниспровергать дутые авторитеты, объяснять лжекритикам, кто заслуживает хвалы, а кто хулы. Настоящий писатель, поэт, заключает она, — это тот, кто ранен жизнью, кто пишет горькую правду, а не сладкую ложь...

Зал шумит. Чего больше в этом шуме — одобрения или несогласия, понять невозможно.

Беллу сменяет Вадим С. Симпатичный юноша с ее курса, поэт-песенник в будущем. Пытается разрядить обстановку. Даже шутит. Вспоминает, как был у Беллы в гостях. У нее дома отлично уживаются собака и кошка. Так и писатели, самые разные, могут уживаться в литературе.

Белла категорически не согласна с этим.

— Какую змею, оказывается, согрела я на своей груди! — восклицает она на весь зал...

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

Общий поощрительный смех: выдай, красотка, что-нибудь такое еще! Но нам, единомышленникам Беллы, не до смеха.

Потом просят слово и получают его — как видно, не выветрились еще теплые струи оттепели — Юнна Мориц, Геннадий Лисин (будущий Айги), Валерий Тур (Рыжей), я, еще несколько добровольцев. В конце дискуссии выясняется, что «наши» побеждают.

Не помню громовых возражений со стороны преподавателей. Хотя, конечно, они были. Иначе Михаил Светлов не вступился бы за Мориц, сказав в своей, насмешливо-любовной манере: «Не столько Мориц Юнна, сколько Мориц юнА».

Все-таки мэтры, отвечавшие за нас, относились к объектам своего воспитания довольно мягко. Но стоило слухам о дискуссии выйти за институтский порог, ко всем участникам были применены *меры*. Меня долго и нудно перевоспитывал курсовой секретарь парторганизации. Другим пришлось солонее. Когда Гену Айги год спустя не допустили к защите диплома, ясное дело, ему припомнили и прежний проступок. Были и печатные выпады. Всех нас поименно пропесочили позднее в каком-то партийном издании, кажется, «Молодом коммунисте».

Однако этой скандальной дискуссии я была обязана особым вниманием со стороны Беллы, памятной прогулкой с ней по центру Москвы, а спустя несколько месяцев ее телефонным приглашением:

— Приезжай, Тamarочка! Мы живем одни: Женя, собака и я...

Именно в такой последовательности: «я» на последнем месте.

Увы, что-то помешало мне поехать к ним в гости...

А погуляли мы тогда с Беллой славно. К сожалению, между нами затесался Костя О., долговязый некрасивый парень, рекомендовавший себя приятелем Миши Рощина. Что он писал, не знаю. Был ли учащимся или только проходящим слушателем — тоже не знаю. Апломба ему хватало. А такта — нет. Прогнать его нам не приходило в голову — все-таки товарищ товарища...

С первой нашей встречи, в сквере перед Герценовским домом, я безоговорочно признала поэтическое превосходство Беллы над мной. Одно время даже собиралась бросить институт. Пришла женщина-поэт, которая все скажет за меня. Лучше меня...

Мы были еще так молоды! Каждый день что-то менялось. На улице. В Кремле. В наших коммуналках. Душа наполнилась впечатлениями бытия, приобщалась к мудрости столетий. Пирамиды книг — по программе и вне — грозили погresti под собой прилежного студента во цвете лет. Мы двигались, очевидно, все-таки вперед, хотя даже в стенах нашего вуза было подозрение, что литературный институт талантливого человека портит. Нивелирует. Приводит к общему знаменателю. Я отталкивалась от этого всеми силами души, шла, иногда бежала. А Белла взвивалась и парила.

Как-то раз пришла на семинар, где обсуждались ее новые стихи.

Белла читала:

*Не стыжусь я своих обманов,
не стыжусь я своих романов.
Но гляжу я на землю, на вмятины
от дождливого этого дня.
Что-то доброе есть в моей матери,
что всегда укоряет меня.
Всё грешу я, грехов не скрываю.
Весела моя жизнь и пуста.
Но как только глаза закрываю,
меня судит её доброта.*

Стихи были искренними, прозрачными. Меня тоже похваливали за искренность. Но Белла была внутренне свободна. А я — нет. Бесстрашна. А я жила и писала с оглядкой. Ее строки складывались в легкую четкую фигуру, как птицы во время полета. А мои рассыпались, как цыплята по двору, и стоило немало труда их собрать, делая вид, что так получилось само собой...

Мне захотелось услышать мнение Беллы о последнем моем стихотворении «Сказки». Его отметили на семинаре, напечатали в институтской стенгазете. Однокурсник Юрий Казаков, входивший в славу прозаик, передал мне на лекции записку: «Твое стихотворение маленькое, но трогает душу. А на это, то есть трогать душу, способны только поэты...»

Но Белла отозвалась сдержанно:

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

— Можно было сделать лучше, — только и сказала она. И тут же смахнула неприятное впечатление улыбкой.

— Сделать, сделать! — передразнил Костя. — Все вы делаете стихи! Нет чтобы просто излить душу. Вот ты... — он глянул на Беллу со своей высоты, как на козявку. — Начинала как человек, а становишься какой-то стряпухой...

Не он один утверждался за счет ее унижения.

А что же она? Тряхнула непокрытой темно-русой головой, и мы пошли дальше.

Заглянули в пустой кинотеатр, посмотрели в фойе выставку скульптора Безрукова.

— Хорошая фамилия для такого автора! — беззлобно пошутила Белла.

Модерном нас было не удивить. Недавно прошли в Москве выставки Пикассо, бельгийских художников, скульптора Эрзя. С легкой руки Юрия Казакова, «Розовая лошадь» стала символом новаторства в искусстве. Его бранчливо использовали ортодоксы. Уважительно поминали студенты, нацеленные на художественный эксперимент в поэзии и прозе.

Впервые тогда услышала я об ее семье: о матери, с которой Белла не очень ладила. Об отце, которого любила. Их недавний развод переживала сильно, хотя, разъехавшись по разным помещениям («квартирам» — громко сказано), они разомкнули порочный общежитейский круг, столь знакомый большинству советских семей.

Рассказывала, как готовилась поступить в институт. Собрала свои стихи, дала родителям на прочтение. Им не понравившись. Прогноз был неутешительный: с такими стихами ее не примут... Мне показалось, что важно для нее было другое: то, что они в последний, может быть, раз вместе читали и обсуждали написанное дочерью...

От всего ее существа, как и от стихов, исходил аромат свежести, независимости, незапятнанности. Я взялась «погладить» ей по ладони. Множество тонких, прихотливых, пересекающихся линий. Типично женский рисунок. Исходя из потрепанных дореволюционных брошюрок, которые я, заинтересовавшись хиромантией, смогла тогда достать, судьбу

они сулили тоже прихотливую, полную кризисов и крайних состояний. Но бугор Венеры! Но могучий большой палец — два важнейших показателя выживаемости и воли! У редкого мужчины увидишь такие чрезмерности.

Я сказала, как будто по чьей-то подсказке:

— Плынешь в скорлупке от грецкого ореха, но под могучим парусом...

Белла неожиданно серьезно отнеслась к моему «гаданию». Потом прочту в журнале «Юность» косвенное подтверждение этой серьезности. Речь идет об ее праздных якобы руках, взятых на перевоспитание физической работой на целине:

*К ним долго целина приглядывалась,
чему-то обучала их.
Иная линия прокладывалась
в ладонях нынешних моих...*

О, если бы существовала обратная зависимость и, «нагадав» хорошее, можно было бы оградить дорогого тебе человека от ударов судьбы, заранее «подстелить соломки»!

О том, что пошедшие под откос отношения Ахмадулиной и Евтушенко были после нашумевшей дискуссии скреплены официальным браком, в институте говорилось открыто.

— Он решил прикрыть ее хотя бы с этой стороны! — добавляли доброжелатели.

Да, расправа тогда коснулась только Юнны Мориц. Ее исключили из института. Тучи над ней собирались и раньше. Но она умела держать удар. Еще в пятьдесят шестом году добилась, чтобы ей разрешили плаванье на ледоколе «Седов» по Арктике. Написала стихи, вошедшие потом в книгу «Мыс Желания». Эти твердой рукой выстроенные, мужественные стихи стали краеугольным камнем ее популярности и последующей широкой известности, увенчавшейся через много лет присуждением российской независимой литературной премии «Триумф»...

Беллу в тот раз не тронули. Приближался Всемирный фестиваль молодежи и студентов — впервые на нашей памяти Москва открыла свои скрипучие ворота для столь рискованного гостеприимства, и как нельзя кстати для обеспокоенных

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

студенческой вольницей литературных наставников оказался выезд на целину.

Из Сибири Белла вернулась посвежевшая, утвердившаяся в том, что было ей свойственно изначально:

*Припоминается мне снова,
что там, среди земли и ржи,
мне не пришлось сказать ни слова,
ни слова маленького лжи...*

Не пройдет и полутора лет, как среди темноты одних, трусости других она не позволит втянуть себя в постыдную большую ложь: публичного осуждения Бориса Пастернака, получившего Нобелевскую премию за напечатанный на Западе роман «Доктор Живаго». За что будет исключена из Литинститута под «благовидным» предлогом — завалила экзамен по марксизму-ленинизму.

...Когда Белла ушла от нас в иной мир, мне позвонили в Мюнхен из Москвы, из телевизионной программы «Вести». Действительно ли я хорошо знала Ахмадулину в студенческие годы? Согласна ли дать интервью, если ко мне приедет съемочная группа?

Получив утвердительный ответ, женщина с молодым голосом вдруг поинтересовалась:

— А вы знали, что она — номенклатурный ребенок? Отец — замминистра, мать — переводчица в КГБ...

Ничего этого мы не знали. Не интересовались этим. Знали ее стихи. Любили их. Пронесли через всю жизнь. Я говорю о себе, но таких, как я, было предостаточно. Само это выражение «номенклатурный ребенок» звучало бы дико для наших ушей. Так звучит оно для меня и сейчас.

Из программы «Вести» ко мне не приехали. Путь далекий. Результат встречи непредсказуемый. Стоит ли тратить?..

Десять лет пролетело... Продолжается поэтический бум начала шестидесятых. Московский Политехнический, Зал Чайковского, всевозможные НИИ, в том числе таинственные «почтовые ящики», университет, вузы, средние школы распахивают

свои двери перед новой поэтической порослью. Нас приглашают с чтением стихов Ленинград и Киев, Ташкент и Тбилиси.

Белла — в авангарде. Лидирует среди женщин-поэтов. У нее новая, высокая прическа с медным отливом, рыжеватая челка, одета продуманно, чтобы не сказать изысканно. Куда девалась юношеская пухлость? Худенькая, летящая.

Лучше всего о поэтах пишут поэты.

Из стихотворения, посвященного Белле Ахмадулиной:

*Я сидел в апрельском сквере,
 Преодо мной был Божий храм.
 Но не думал я о вере,
 я глядел на разных дам.
 И одна, едва пахнуло
 долгожданною весной,
 вдруг на веточку вспорхнула
 и уселась предо мной...*

Булат Окуджава

Обычно ее берегут для финала вечера. Горы записок с вопросами, заказами, объяснениями в любви кучей громоздятся перед ней на столе. Она нисколько не пыжится, не перевозносится перед коллегами. Объявленная ведущим и заранее захлопанная аудиторией, выходит к микрофону с поспешностью и отвагой новичка. Декламирует свои стихи, закинув голову, по-лебединому выгнув шею, но все это не от гордости, а от горести, как сказано в одном ее стихотворении.

Да, горесть, горечь присутствуют в ее чтении, удивляя слишком простодушных, давая пищу для колкостей злоречивым, заражая состраданием и соучастием способных на отзывчивость:

*Не плачьте обо мне — я проживу
 счастливой нищей, доброй каторжанкой,
 озябшею на севере южанкой,
 чахоточной да злой петербуржанкой
 на малярском юге проживу.
 Не плачьте обо мне — я проживу
 той хромоножкой, вышедшей на паперть,*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

*тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.*

*Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.*

*Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.*

«Бис» и еще раз «бис». Ее не отпускают. Она с трудом покидает «среду поклонения», которого не любит. Отбояривается как может от излишеств популярности. От леса рук поклонников, протиснувшихся к сцене. «Всех обожаний бедствие огромно...» — напишет она впоследствии.

Выйдя за кулисы, как из бани в прохладный предбанник, не сразу, но приходит в себя, возвращается, успокоенная, на сцену и одним этим утихомиривает податливый зал. Отвечает на вопросы. Благодарит за цветы, за посланные по рядам книги для автографа...

После одного из таких совместных выступлений Белла пригласила меня и двух поэтов-мужчин к себе домой. Вместе с ней нас четверо — умещаемся в одном такси.

Район метро Аэропорт, кооперативные писательские дома. Мы в квартире Юрия Нагибина, ее нынешнего мужа. Знаю, что лучший любовный цикл Беллы, «Сентябрь», посвящен ему. Видимо, жар остыл — обстановка холодноватая. Точно вещи, разогретые былым чувством и горячими попавшие в ее стихи, там и завязли, остыли, стали экспонатами.

Юрия Марковича нет в Москве. Белла — полноправная хозяйка. Впервые вижу ее в этой роли. Спыхватившись, что в доме — шаром покати, она с большой сумкой отправляется в магазин. Занимает нас разговором ее мама Надежда Ма-

каровна. Ни в строгом выражении лица, ни в суховатой речевой манере ничего общего с дочерью! Но любезна, внимательна к каждому. Старшего из нас, Александра Межирова, поэта военного поколения, она хорошо знает, по-домашнему называет Сашей. С Олегом Чухонцевым знакомится впервые, со мной — тоже. Интересуется, как прошла встреча, кто что читал, с чем выступила Белла.

А вот и она! Выгребает из сумки, обворожительно улыбаясь, хлеб, сыр, колбасу. Не взыщите, мол, чем богаты, тем и рады. Все самое ходовое, недорогое, что увидишь и на столе учительницы, и на тарелке работяги — съестной ширпотреб. Похоже, здесь и не слышали о дефицитных «наборах», о продуктах высшего сорта, доставаемых по благу. Но, потратив на выступлении много энергии, мы довольны и таким угощением.

Выхожу на кухню помочь Надежде Макаровне с посудой.

— У вас, Белла, две трагедии, — слышим, вернувшись в комнату. — Первая: родиться такой впечатлительной. Вторая — трагедия сытости.

Что-то от суда, даже от трибунала, учитывая военную биографию говорящего, звучит в Сашином голосе, — да ведь он не просто старше нас по возрасту. Он старше «на Отечественную войну», как сказано в одном его стихотворении. Белла не очень прислушивается к литературным авторитетам, если они не подтверждены высочайшим классом поэзии. Но и тут Саша даст сто очков вперед иным «окопным стихотворцам».

— Вы имеете в виду физическую сытость? — несколько нервно спрашивает мама.

Мне становится смешно. Полупустой стол о такой «сытости» никак не свидетельствует.

Саша дает завуалированный ответ. Понимай, как хочешь.

Белла не остается в накладе:

— Мама, помнишь, ты рассказывала, что как-то в роддоме вместо меня тебе принесли кого-то страшенького? Так это был Саша.

Все радуются легкому разрешению назревавшего конфликта. Теперь можно и стихи почитать, и поговорить о чем-то серьезном...

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

От того недолгого гостевания у меня в памяти остались лица. Суровое — Межирова. Задумчивое — Олега, который сидел за столом отстраненно, почти не участвуя в разговоре. Расстроенное — Надежды Макаровны. Разгоряченное, прекрасное, все сильнее горящее от каждой выпитой рюмки — Беллы. Вспоминая какой-то неприятный юношеский эпизод, она сказала, обращаясь к матери:

— Я впервые тогда закурила. Мне было совсем мало лет...

— Лучше бы ты не закурила! — вырвалось у Надежды Макаровны...

На прощанье Белла стала заваливать меня подарками: косметикой, бижутерией, сувенирами. Я от всего отказывалась. Но она не уступала, настаивала. Тогда я решилась взять розовые, наилегчайшие шарики бигуди — целую пригоршню. Никогда прежде таких не видела. Этими розовыми «снежками», как мы их называли, долго потом играла моя дочка...

Надежда Макаровна вышла из квартиры раньше меня. Белла заметалась. Или мать что-то забыла взять с собой. Или дочка запаматовала дать ей в дорогу нечто необходимое. Выбежав вслед за ней на лестничную клетку, свесившись через перила, Белла кричала:

— Мама! Мамочка! Вернись! Подожди меня. Я сейчас, сейчас...

Мне стало страшно за нее. Я втянула ее в открытую дверь. Надежда Макаровна не вернулась...

А через несколько дней она мне позвонила. Спросила, располагаю ли я свободным временем. Просила приехать к ней — поговорить о дочери...

Я приучена хранить чужие тайны, даже если тех, кто мне их доверил, нет в живых. Все мне кажется, связи между живыми и мертвыми не рвутся. А если ослабевают, то временно. Стоит воскресить в душе чей-то впечатавшийся в нее образ — и он начинает обростать плотью. Мистики скажут: тонкой материей. Чем-то промежуточным между духом и плотью. Пусть так. Но ведь материей. А она дается в ощущениях. Очевидно, как и боль, эти ощущения у разных людей имеют низкий, средний и высокий порог...

Жила мама Беллы недалеко от метро Войковская, в коммуналке. Одна ли или две небольшие комнаты принадлежали ей, не помню. Наверное, все-таки две, потому что супружеская пара, Белла и Женя, как я поняла, совместную жизнь начинала именно в этой квартире.

— И вот как-то она пришла... — делилась со мной Надежда Макаровна — и легла на этот диванчик. Бледная. Ничего рассказывать не хочет. Но я догадалась. А у нее хронический цистит к тому же. Застудили в детском саду. Ей надо беречь себя. Тепло одеваться... Недавно сорвалась с места — и в Грузию. Писать. Переводить. Нужных вещей с собой не взяла. А ведь холодно уже. Я места себе не нахожу: как она там? Набрала с собой всего побольше, полетела самолетом. С трудом отыскала ее. Она на меня сердится: зачем явилась? Зачем меня позоришь? Но я же мать, мать, как я могу не позаботиться о ней? Кто же тогда... — непролитые слезы изменили ее голос.

Мне стало стыдно, что, поверив сплетне, вообразила ее чуть ли не врагом Беллы. О враге не пишут такие стихи, как она о матери, не кричат в лестничный пролет «мама», «мамочка».

Долго изливала она мне душу, просила помочь, поговорить с Беллой. «Она с вами считается».

Я ушла от нее потрясенная. Что искусство требует жертв, я запомнила с ранних лет. Но само слово «жертва» предполагает что-то древнее, античное. А тут, на наших глазах, происходит как будто будничное самосожжение. «Все в жертву памяти твоей...» — это Пушкин о любви. А здесь все, что составляет смысл существования, приносится в жертву стихам, творчеству, «служенью муз», — всплыли-таки в памяти античные гости. Легкий житейский мусор сгорает сразу — его не жалко. На очереди вещи посерьезней: здоровье, чувства, отношения с близкими, браки, сама жизнь...

Раньше всех моих сверстниц Белла стала страстно крутить баранку автомобиля, любила рискованную езду, ничего не боялась. Недаром Вознесенский написал: «Ах, Белка, лихач катастрофный!» Рассказывала: ехали с актером Евгением Урбанским в машинё, опаздывали, гнали нещадно. Он несколько напрягся. «Ну, что ты, Женя, — сказала она ему. — Не от ма-

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

шины же мы умрем!» А он умер как раз от машины. Не в тот раз. Позже. На съемках фильма «Директор».

Предпоследняя строфа «Светофоров» из первой ее книжки «Струна» звучала так:

*Видно, выход в движеньи, в движеньи,
в голове, наклонённой к рулю,
в механическом напряженьи
у погибели на краю...*

Так она его читала на вечерах, так оно мне запомнилось.

В издательстве «Советский писатель», самом культурном и либеральном, как тогда считалось, потребовали правки двух последних строк. Получилось гораздо хуже:

*...в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.*

Стихотворение — как лицо человека. Его можно изуродовать одной поперечной царапиной.

С чего началась для меня новая Белла, о которой стали все громче говорить коллеги-поэты и более или менее независимые критики, одни с удивлением и восторгом, другие с неприязнью и плохо скрытой завистью? Со «Сказки о дожде», «Озноба» и особенно «Варфоломеевской ночи».

Поговаривали, что своей славой, любовью слушателей она обязана своей необычной красоте, самой природой поставленным голосом, чуть ли не заграничными нарядами. Или вот еще: знаменитыми мужьями.

Вздор! На этом можно продержаться два-три сезона. Сшитое на скорую нитку платье популярности, все равно женское или мужское, обязательно выдаст свою поддельную сущность.

Главное же, остаются поэтические тексты. Об одном из них, названном выше, хочу сказать поподробнее.

Белла родилась в тридцать седьмом году. Как-то она обронила: жила в доме, где все время кого-то арестовывали, а ей было предложено «играть в песочек».

Можно составить антологию (не удивлюсь, если такая уже есть), включающую стихи о «черных воронках», тюрьмах, на-рах, расстрелах той злосчастной поры. О вакханалии насилия, преломленной в «детях Арбата», как стало принято называть после романа Анатолия Рыбакова ни в чем не повинное младшее поколение, опрометчиво родившееся у будущих политических «преступников» и дорого заплатившее за это.

Насколько я знаю, в семье Ахмадулиной никто впрямую не пострадал. Но информированы о царивших в стране беззакониях тридцатых годов мы были лучше многих других. В институте читали «Закрытое письмо» Хрущева съезду партии о культе личности. Наиболее смелые преподаватели упоминали об этом на лекциях. На наших глазах из мест заключения стали возвращаться живые, а вернее полуживые свидетели произошедшего.

Беседа со мной, Надежда Макаровна коснулась и этого жгучего вопроса:

— Мы говорили дома о Сталине, об искажении при нем ленинской линии партии. Женя слушал меня внимательно, понимал все сложности этого периода. А Белла все кричала...

«Трагическая впечатлительность», о которой сказал в гостях у нее старший поэт, вкупе с уникальным художественным талантом, толкает тридцатилетнюю Ахмадулину к неожиданной ассоциации — она пишет «Варфоломеевскую ночь».

Стихи начинаются подчеркнуто спокойно, по-домашнему, в женском ключе:

*Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья?
В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.
Ещё птенец, едва поющий вздор,
ещё в ходьбе несведущий козлёнок,*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

*он выжил и присвоил первый вздох
изъятый из дыхания казнённых...
...Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далёких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для лёгких.
...И коль дитя расплатится со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.
И если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлеянных под сенью злодеянья...*

Тончайшая выделка стиха. «Кружевное», «серебряное» словесное вещество по определению поэта. А между тем бесстрашно поставлен диагноз: заведомая безнравственность тех, кто рожден «вблизи кровопролитья». Белла не отделяла себя от «шестидесятников», кого Евтушенко в своей колоссальной поэтической антологии XX столетия скоро поместит в Железный век. Еще бы не «Железный», если выжили и даже разрумянились...от некоего количества перелитой иммунодефицитной крови. Казненных, убитых, превращенных в лагерную пыль...

Как-то раз я зашла к Белле по делу. В другую квартиру, но тоже в одном из писательских аэропортовских домов. Меня встретила Надежда Макаровна. Она была непривычно спокойная, удовлетворенная.

— Посмотрите, Тамара!

В небольшой комнате, в деревянной кровати лежала маленькая девчушка, с миловидным круглым личиком. Гукала по-младенчески.

— Это наша Анечка. Правда, похожа на Беллу?

Матери хотелось, чтобы это было так.

Я взгляделась. Есть сходство. В лице самой Беллы всегда оставалось что-то детское.

Мой ответ порадовал новоиспеченную бабушку...

Лето семьдесят пятого. Летим большой группой в Грузию. Возглавляет «писательский десант», как тогда выражались, Константин Симонов. Как над ним ни подтрунивали менее удачливые коллеги, ни называли вполголоса или про себя «советским Киплингем», «соцреалистическим Хемингуэем», он — персона грата. Многие помнят его стихи. Смотрят его пьесы. Разноречиво, но заинтересованно отзываются о прозе и публицистике...

Белла грустная. Даже безутешная. Не знаю, что с ней. Расспрашивать не смею. Сидит в самолете несколькими рядами впереди меня. Ни с кем не общается. Стала хрупкая, даже субтильная. За высокой спинкой ее и не видать.

Тогда не говорили «сарафанное радио» — передачу спорной информации из уст в уста называли, по детской игре, «испорченный телефон». Хочешь — верь, не хочешь — не верь. Он-то и донес до меня: у Беллы теперь две дочери — приемная Аня и кровная Лиза. Долго не могла выносить дитя, но, слава Богу, недавно произвела на свет очень хорошую девочку. Женя, считавший себя виноватым в ее женских проблемах, будто бы сказал: «Пока она не родит, и у меня своего ребенка не будет!» Благородно. Я давно знала: у него растет приемный сын Петя...

Прилет в Грузию — это торжество с помпой: духовая музыка, цветы чуть ли не кустами, плывущие от восторга и возбуждения лица встречающих. Да ведь и было кого встречать: Агния Барто, Зиновий Паперный, Евгений Долматовский, Лидия Либединская, Михаил Квиливидзе, Александр Межиров, Виталий Коротич, Исидор Шток, Олег Чухонцев, Лариса Васильева, Ирина Ришина...

Беллу тут прекрасно знают, любят. За стихи, за дерзость, за то, что не сталинистка: в какого-то босса, публично воспевавшего Сосо, запустила туфлей. «Как это — туфлей?» «А вот так — сняла с ноги — и бросила ему прямо в морду». «А Симонов, многократный лауреат Сталинских премий, знает об этом?» «Все об этом знают. Кому-то такой эпатаж, ясное дело, не по вкусу. Но Симонов, он же умница! Он открыто критикует Сталина за тридцать седьмой год. За катастрофу начала войны. Его военные записи — это приговор Сталину...»

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

Занятно: один, писатель-трудоголик, — возвел пирамиду книг, в которых его политическое кредо. Другая, поэт, просто швырнула в местного сталиниста туфлей — и окружающим все с ней стало ясно...

Пока нас развозят, расселяют по гостиничным номерам, читаю своей соседке, скромной московской поэтессе Гале Чистяковой, перевод стихотворения Галактиона Табидзе «Мир состоит из гор...» Она удивляется, что помню наизусть: «Это же не сама Белла — перевод!» — «Да! Но звучит, как перво-классный русский стих»:

*Мир состоит из гор,
Из неба и лесов.
Мир — это только спор
Двух детских голосов.
Земля в нём и вода,
Вопрос в нём и ответ:
На всякое «о, да!»
Доносится «о, нет!».
Среди зелёных трав,
Где шествуют стада,
Как этот мальчик прав,
Что говорит «о, да!».
Как девочка права,
Что говорит «о, нет!».
И правы все слова,
И полночь, и рассвет...
Так в лепете детей
Враждуют «нет» и «да»,
Как и в душе моей,
Как и во всём всегда.*

— А ты знаешь, как это по-грузински? — спрашивает Галя.

— Нет, конечно! Но раз по-русски хорошо, по-грузински, уверена, не хуже. Галактион Табидзе — великий поэт с роковой судьбой. Мы лучше знали Тициана — жертву более ранних времен. Того блестяще переводил Борис Пастернак. Но Белла, ей-ей, перевела его двоюродного брата не хуже. Глав-

ное — естественность звучания. Вдохновенный полет слов и строк. В остальном доверяю переводчику...

Разделившись на бригады, мы путешествовали по Грузии. Маршрут моей группы: Кутаиси, Махарадзе, Тбилиси. С грузинской стороны к нам присоединились Нодар Думбадзе, Арчил Сулакаури, Джансуг Чарквиани.

...Тридцать шесть лет прошло с тех пор. Временем скосило старшее и половину среднего поколения принимавшей нас стороны. Но живы во мне опознавательные приметы той поездки: дом-музей Маяковского с колыбелькой маленького Володи, бережно хранимый как реликвия дом Галактиона Табидзе, тяжело-весная ГЭС со стихами, высеченными на каменных плитах.

Запомнились бесконечные плантации чая, где тяжело, под жгучим солнцем, работали грузинские женщины. Такая могучая колхидская природа, такие щедроты земли и небес. А хлеб насыщенный достается согбенным трудом.

И опять врывается в обыденность Белла, с ее маленьким шедевром «Грузинских женщин имена»:

*Там, в море, паруса плутали,
и, непричастные жару,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.
И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.
Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.
И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли и мелели,
и загорались невпопад.
И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке...*

Чудесное стихотворение, написанное задолго до нашего «десанта» в Грузию. Опоэтизивав своих героинь, Белла тем самым точно пообещала, что не даст их в обиду. Да, жизнь тяжела везде, даже в благословенной Грузии. Но ей не убить красоту, не сделать из женщины рабыню. Медея, Цисана, Натэла — не иначе как в божественных святцах народ почерпнул такие имена.

Блестяще подтверждаются строки Евг. Боратынского: *«Своею ласкою поэта/Ты, рифма, радуешь одна»*. Отдельные имена грузинок подсказаны корневыми рифмами: ломала — Ламара, Медеи — мелели, олеандры — Ариадны. Благодаря ассонансам они звучат как бы одновременно с эхом, заполняя пространство строф...

В Гурии хозяева завели нас в один из охотничьих домиков, где радушно кормили и поили. Причем поили — не без подвоха. Мне, например, первой поднесли большой рог, полный сухого вина. Нельзя было его отставить, не положено класть — содержимое прольется. Его нужно осушить залпом. И, если опьянеть, то самую малость. С трудом справилась я с этой задачей. Привыкшая к грузинскому гостеприимству Белла относилась к таким вещам легко. Опустошала и роги и бокалы весело и грациозно.

Вечером принял нашу пеструю компанию великолепный театр в Махарадзе, на другой день ждали нас в клубе, на чайной фабрике, на мебельном комбинате. Везде аншлаги. Не знаю только, жестко организованные или спонтанно заполняемые любознательной кавказской публикой. Похоже, что первое. Но люди, как выяснялось ближе к концу встреч, оживали, слыша стихи на родном, а потом на русском языке. Ведь Грузия двуязычна...

Пик же востребованности ожидал нас в Тбилиси.

После своего оглушительного успеха на турнире поэтов в филармонии Белла объявила русско-грузинским участникам вечера, что мы немедленно едем в ресторан на ипподроме, а оттуда — в хашную. Злачное, по мнению чистоплюев, место, где мужчины в подпитии опохмеляются и окончательно прочищают мозги «хашем» — тщательно обработанными и сваренными в огромных котлах говяжьими ногами и рубцами.

Без соли, но с чесноком. Женщинам вход не воспрещен, но далеко не каждая решится доказывать на рассвете таким образом свое равноправие.

Несколько приглашенных отпали, сославшись на усталость. Но мы с Галей Чистяковой решили держаться до конца.

Я была поражена выносливостью Беллы. Отчитав на вечере множество стихов, выкладываясь на каждом со страстью и эмоциональной безудержностью, с какими оно писалось, выдержав «обожание» зала, она собиралась как ни в чем не бывало продолжить литературные посиделки с братьями и сестрами по ремеслу и на исходе ночи с ними же закатиться в хашную. Вот это да!.. У нас на глазах она отходила от своей грусти, от неведомых нам женских переживаний. И становилась той самой, кого я навсегда полюбила с осени пятьдесят пятого...

Кто поехал тогда с нами? Наверняка знаю, что Георгий Маргвелашвили и Анна Каландадзе, по собственному признанию, никогда ранее не бывавшая в хашной...

*...Как мило всё было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила...*

Этот зачин стихотворения «Анне Каландадзе» — как ключ к той ночи, если и оставшейся в памяти двух-трех донны живущих, то с ущербом, недостойным того полнолуния, что вечно пребывает только в природе и талантливых стихах.

Ключ к ночи? А может ли быть у ночи ключ, если это не ночь из «Синей птицы»? Даже ползучего реалиста стихи Беллы переиначивали, наделяли «прибором ночного видения», расширяли данные от рождения возможности всех органов чувств... Говорят: нарочито усложненная, манерная. Я устала спорить на эту тему. Совсем молодой она написала стихотворение «Лунатики» с удивительной концовкой. Речь идет все о той же Луне, только на двадцать лет моложе. А может ли быть у Луны возраст?..

*...Мерцающая так же холодно и скудно,
взамен не обещающая ничего,
влечёт меня далёкое искусство
и требует согласия моего.*

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

*Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылететь из лунного свеченья
тяжёлый осязаемый предмет?..*

Ты смогла, Белла, говорю я ей так, как будто она находится не за сотни тысяч парсеков от меня, в качественно иной среде, если верить Бродскому, а в той же самой комнате, рядом с моим компьютером...

Но вернемся в лето семьдесят пятого.

*...В деревьях вблизи ипподрома —
случайная тень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явленье того же порядка.*

В стихах мелькает тень Галактиона Табидзе. И это напоминание всем нам, «соучастникам сборищ», что веселье веселем, а время временем. Так быстро переключаться из вечности в сиюминутность и обратно, как умела Белла, дано немногим. Вот концовка стихотворения:

*...И я помышляла, покуда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твоё чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну.*

...После Грузии я встречалась с Беллой только изредка. Знала, что она вышла замуж за известного художника из знаменитой театральной семьи Бориса Мессерера.

Старалась не пропустить выхода ее новых книг. «Струну», «Уроки музыки» она подарила мне сама, с чрезмерно щедрыми автографами. Радовалась ее премиям и наградам.

Когда-то вернувшийся из ссылки на наш четвертый курс и ходивший в институтских пророках Наум Коржавин сказал мне об Ахмадулиной: «Белла — очаровательная женщина, на которую не нашлось хозяина. Покорять — в ее природе. Когда я с ней познакомился, она стала (*посмеивается*) покорять меня. Но я сразу понял, что ко мне это не имеет никакого отношения. И другие мужчины понимали это. И только Евтушенко, который не мог представить, как это что-то не имеет к нему отношения, принял все на свой счет».

Я — другого мнения об их взаимной влюбленности и коротком браке. Когда встречаются двое, тем более в молодом возрасте, они жадно, даже алчно приникают один к другому душой и плотью, подсознательно надеясь восполнить огрехи природы, туманные пятна биографии, недостатки среды, откуда вышли.

В этом смысле Белла и Женя счастливо дополнили друг друга.

Доказательство? Их долгая, растянувшаяся на десятилетия дружба, неиссякаемый интерес друг к другу. Стихотворение Беллы «Сон», посвященный ее бывшему возлюбленному, — одно из самых неподдельных в русской лирике. Евтушенко первый назвал ее великим поэтом. Пусть литературоведы обоего пола, (о которых не без иронии писала Белла Ахмадулина), разбираются, так это или не так. Мне дорого то, что сказал это Евгений Александрович. Значит, есть на свете верность, превосмогающая все наносное, слишком земное.

«Хозяин» на Беллу, наконец, нашелся. Она прожила с Борисом Мессерером тридцать шесть лет! Вместе они вырастили ее дочек, приобщили их к искусству и практической жизни. Все эти годы она писала. Стихи, эссе, прозу. «Беззащитное всеоружие», в котором увидел после выхода первой книги ее отличительное поэтическое свойство один премудрый критик, оказалось не позой, а второй натурой.

«Если даже вы в это выгравлись,/Ваша правда — так надо играть!» (Пастернак о Мейерхольде). Сделанное Беллой

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

Ахмадулиной в поэзии — неповторимый вклад в русскую изящную словесность.

Кто-то приглядывает за нами с небес... Стоило мне приблизиться к завершению этого эссе, как немецкий письмоносец, всегда чрезвычайно аккуратный в доставке почты, — если бандероль не влезает в щель ящика, не поленился, поднимется на этаж, позвонит в квартиру, а за отсутствием адресата, почти насильно всучит ее соседям, — оставил для меня в положенном месте сверток с «Крымским Ахматовским научным сборником», выпуск девятый. Я его вскрыла, пролистала. И... заболела от огорчения. Ибо прочла, в изложении честнейшей Лидии Корнеевны Чуковской, как относилась к Белле Ахмадулиной великая Анна Ахматова. Великая без преувеличения! Сорок пять лет, прошедшие после ее смерти, не только не поколебали ее репутацию, но сделали бесспорным поэтическим светилом XX столетия...

«Полное разочарование. Полный провал. Стихи пахнут хорошим кафе — было бы гораздо лучше, если бы они пахли пивнухой. Стихи плоские, нигде ни единого взлета, ни во что не веришь, все выдумки...»

Это Анна Андреевна Ахматова о книге стихов «Струна» (1962), которую не только я, но и многие молодые, ошеломленные свежестью нового поэта, знали наизусть, ставили в пример себе и другим. Взахлеб писали о ней самые свободомыслящие в ту пору критики. Не скупилась в оценках прижизненные классики старшего поколения. «Ахмадулина — без сомнения необыкновенно одаренная и сильная поэтическая личность» — не без оговорок признает и югославский писатель-диссидент Михайлов в своей книге «Лето московское 1964».

К чести автора исследовательского материала с трудным названием «Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой» Р. Д. Тименчика скажу, что он дает высказаться и оппонентам Ахматовой, вплоть до М. Д. Вольпина, осмелившегося пошутить в присутствии королевы русской женской поэзии: «...когда она мне очень пренебрежительно говорила о Евтушенке, очень пренебрежительно об Ахмадулиной, я еще посмеялся

и говорю: «Вы просто ревнуете, потому что — Ахмадулина, да молодая, да хорошенькая, где ж Вам ее похвалить-то!»¹

И все же отзыв Анны Ахматовой, как козырной туз, грозит покрыть все прочие...

Знала ли об этом Белла? Уверена, что да. Ей доложили, до нее донесли, да еще, может быть, и прибавили. *«Врагов имеет в мире всяк./Но от друзей спаси нас, Боже...»* — это Пушкин.

Отвечала же она королеве только стихами, как всегда, воздушными, благородными:

*Но её и моё имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как назвали меня?..*

Причина, думаю, не в близости имен, хотя кто знает, что явилось первоначальным толчком органического неприятия Анны Андреевны.

Литература знает такую идиосинкразию одного гения на другого: Толстой — Шекспир. Не буду множить примеры. От своей обиды за Беллу я кое-как оправилась, сказав себе, что неотвязное в течение целого года желание написать о ней было как будто инспирировано каким-то порталом с потусторонними разборками...

Три эпизода напоследок. Прочитав в моей книге «Мы — счастливые люди» повесть памяти отца Меня, Белла мне позвонила. Ее внимание привлекли следующие слова: *«Свобода — не столько право харизматической, то есть талантливой личности, сколько главное условие, при котором она только и может максимально себя проявить. Иначе «поручение» (Боратынский) будет не расслышано или дурно выполнено.*

*Мне с небес диктовали задачу —
Я её разрешить не смогла, —*

¹ Анна Ахматова в записях Дувакина. — М., 1999. — С. 278 — Т. Ж.

«ДАЙ, ЖИЗНЬ, ОТСЛУЖИТЬ ТВОЁ ЧУДО...»

Это уже Белла Ахмадулина, однокашница, моя многолетняя и неразделенная любовь».

Трудно сказать, побудило ли ее выйти на разговор со мной: недвусмысленно выраженное чувство ее сопричастности к нашей великой поэзии (выше цитировалась Ахматова) или задело то, что между строк я посетовала на свою неразделенную к ней любовь. Она говорила больше о втором, горячо разубеждала меня в моем заблуждении, присягала в своей мило преувеличенной, словесно изощренной манере на верность.

Я спросила, что она сейчас пишет. Прозу, отвечала она, и стихи о летчике. К сожалению, стихотворение это так и не попало мне на глаза...

Весной две тысячи четвертого года Белла получила от Союза писателей Москвы премию «Венец».

Я как раз была в Москве. Публично поздравить коллегу с вручением этой денежно невеликой, но дорогой всем нам награды поручила мне Римма Казакова. Я было заартачилась: пусть поздравит какой-нибудь классик, лучше мужчина, почему я?

Потому, отвечала мне здравомыслящая подруга, что у тебя уже есть эта премия — значит, не будешь завидовать. Главное же, ты любишь Беллу, а это дорогого стоит.

Перед выходом на сцену я заволновалась: что сказать? Время ограничено. Общие слова никому не нужны. Стихи Беллы — интимная часть моей жизни. Демонстрировать ее Большому залу ЦДЛ — не целомудренно...

Беллу вывел на сцену к микрофону муж. Она стала плохо видеть. Говорила в ответ на сетования сердобольных знакомых: «Не на что смотреть! А сочинять стихи я и так могу».

И вдруг меня осенило. Прочту-ка вслух ее стихотворение студенческой поры. Врезалось мне в память после одного семинара. То оттепельное, то неустойчивое время, когда мы, дети железного века, прозревали, ощупью двигаясь — кто к правде, кто к истине, а кто и в никуда, отразилось в нем лихорадочными, импрессионистскими мазками:

*О, травка-клевер, не горчи!
Как лужи глубоки и гадки!
Ты слышишь, как кричат грачи?
Но это не грачи, а галки.
Да нет, грачи...
А сколько лет
тебе? А мне ещё нисколько.
Весна, благодарю твой лёд,
твои внезапные наскоки.
Какой дурацкий поворот!
Какая белая берёзка!
И нам себя не побороть,
когда мы за руки берёмся.
А все же сколько же нам лет?
Так много, судя по печали
всех слов твоих...
О, этот лес
и крики галок за плечами!*

Белла была тронута. Сказала, что сама забыла эти стихи и никто их уже не помнит, кроме Тамары...

Больше я ее не видела.

В марте две тысячи девятого года в Доме актера чествовали Фазиля Искандера по случаю его восьмидесятилетия. Нашу семью за отсутствием старших представляла дочь Александра. Когда она с мужем возвращалась домой по Старому Арбату, вдруг увидела Беллу, Бориса Мессерера и писателя Евгения Попова, которые шли тем же путем, очевидно, к машине. Она подошла к ним, представилась и, ни минуты не раздумывая, сказала, обращаясь к Белле:

— Мы все вас очень любим...

Меня слегка утешает то, что этим признанием можно завершить мой труд.

Олег Воробьев

Чего так боятся эти люди?

В спектре человеческих отношений всегда было и всегда будет множество поведенческих граней, от золотистой поверхности любви до иссиня-черного жала холодного расчета. От светящегося лазоревым цветом луча мудрости до кроваво-красного ока ненависти и безумия. Ярко-оранжевые вспышки оптимизма могут чередоваться коричневой тенью болезней и лишений. Бывает порой и белая пелена безучастности.

Все эти связывающие людей грани не стоят на месте, они переливаются, гаснут, разгораются, набирают силу и умирают, чтобы вновь родиться. Дружба и любовь, ненависть и неприязнь, тяготение и отталкивание — люди эмоционально-динамичны, ну что тут поделаешь...

Вместе с тем человек наделен абстрактным мышлением, он все стремится оценить, все меряет собой, своим жизненным опытом, своим знанием и незнанием.

И вот из безличного тяготения электронов рождается абстракция электрического тока, «текущего» столь же абстрактно от условного «плюса» к столь же условному «минусу». Многообразии вкусовых оттенков человек ощущает метафизическими «горько», «сладко», «кисло», «солено». Из всех законов вселенского тяготения отвлеченно вычленяются лишь те, которые в состоянии описать ускорение свободного падения некоего яблока на некую голову.

Из множества моделей движения небесных тел опять же умозрительно выбирается именно та, которая подходит человечеству в данную конкретную эпоху. Атом, еще вчера бывший «кирпичом» мироздания, сегодня все более раскалывается под натиском возбужденного абстракциями релятивизма. Общеизвестен произвол и в оценках истории любого народа, а тем более, мировой истории, что, тем не менее, совершенно не влияет на ее ход.

Отношения людей рождаются из людских оценок, из способа мышления абстракциями, породившего такие дива-дивные как европейскую мораль, римское право, явление цивилизации и феномен гуманизма.

Выстроилась и соответствующая идеология — теория прогресса, поначалу воздвигаемая лишь продвинутыми оди-ночками из среды «вольных каменщиков» и иллюминатов, а ныне безраздельно охватившая все страны и континенты, вне зависимости от локальных верований, цветов кожи и раз-резов глаз.

Но порой бывает, что нагромождения построенных челове-ком абстракций становятся столь чудовищны, что начинают угрожать уже своим прародителям. Обращу внимание на од-ну из угроз, тесно связанную с развитием псевдо-гуманизма — на лишение людей возможности защищаться, постоять за се-бя, за свои ценности и убеждения.

В этом отношении **способность к самозащите** нашего на-рода, более семидесяти лет жившего в условиях коммунисти-ческого искажения реальности, наиболее благодатный мате-риал для иллюстрации.

Оружия жителей России лишили очень давно, почти сра-зу после Октябрьского переворота, учителя которого полага-ли, что грядущее мировое царство пролетарской диктатуры защитит всех и каждого.

Однако, защиты граждане новоиспеченной Совдепии так и не дождались, а самостоятельно обороняться от воров и бандитов их методично и планомерно отучали. Понижая об-щественную самооценку, власть одновременно принуждала

ЧЕГО ТАК БОЯТСЯ ЭТИ ЛЮДИ?

социальную среду к противоестественной надежде на иррациональные «внешние силы».

И если при трижды проклятом царском режиме каждый крестьянин или рабочий в любой, без исключения, точке империи мог себе позволить иметь револьвер, а, тем более, винтовку или саблю, то в благословенной Советской России даже казак уже не имел права самовольно хранить дедовский дробовик.

Исключение, и то — поначалу, было сделано лишь для авторитетных коммунистов и видных пропагандистов советской власти вроде Владимира Владимировича Маяковского. Во время репрессий тридцатых годов именное оружие было массово изъято теперь уже и у коммунистов.

Одновременно с лишением людей права иметь и применять оружие новая власть всячески, через систему ДОСААФ, сеть спортивных секций и школьную военную подготовку, прививала молодому поколению милитаризм в худшей форме своего проявления — идеологически ориентированной. Молодежь не учили защищать себя и своих близких, ее натаскивали на защиту государственной идеологии, учили убивать за интересы задрапированной кумачом государственной машины.

И нельзя сказать, что делалось это неумело, спустя рукава. Наоборот, задавленное советским идеологическим прессом поколение проявило истинные чудеса героизма и самоотдачи — в жестокие военные годы и мирное время, как на фронте, так и в тылу.

В чем нельзя было упрекнуть советский государственный механизм, так это в отсутствии воли к удержанию власти всеми возможными способами, главный из которых — опора на молодых, на их энергию и жизненные силы, на привитую с детства беззаветную веру в могущество партии, в господство большинства над меньшинством, большевиков над меньшевиками, общего над личным.

Шли годы, менялись поколения, но неизменным нравственным ограничителем советского сообщества оставалась верность коммунистической идеологии, сущность которой,

как известно, в надругательстве над идеей личности как таковой.

Партию, ее высокопоставленных лидеров часто ругали, их не любили, но в критические для страны моменты народ всегда был на стороне коммунистов, всегда поддерживал и зачастую внутренне обосновывал большинство партийных начинаний и установлений. Не исключая и монопольного права коммунистического государства на личную безопасность.

Несмотря на разгул преступности всех мастей, кто сегодня, через двадцать лет после крушения коммунистического строя выступает у нас против возможности граждан на самозащиту — любыми средствами, не только так называемым «короткоствольным» оружием, но и ножом, или иными подручными средствами? Кто вечно боится при нападении на себя и свое имущество «превысить пределы самообороны», предпочитая предать свою честь и достоинство? Кто не предоставляет даже гипотетической возможности защищаться?

Очевидно, те же самые люди способны молчаливо пробежать мимо творящегося на их глазах преступления. Таким, как они, безразличны сограждане, даже их собственные родственники и соседи, — часто до такой степени, что оказывается некому просто позвонить по телефону в полицию и рассказать о выстрелах и криках за стеной.

Более того, эта поросль не просто уживается с насилием против себе подобных, она стоит на страже этого насилия, мазохистски идеологизирует и мифологизирует его. Чего стоят вымученные теории о толерантности к бандитам и преступникам, поразительная терпимость к насильникам и педофилам, «интеллигентное» замалчивание этнической преступности, химеры мультикультурализма.

Сквозь весь этот сгусток сублимированного страха просматривается ключевое упование советского человека, никогда не рассчитывавшего на собственные силы, но лишь полагающегося во всем на доброго государственного барина, который конечно же никогда и никогда не рассудит по справедливости. Просто руки у него до всех не дойдут.

ЧЕГО ТАК БОЯТСЯ ЭТИ ЛЮДИ?

Но перейдем от метафизики к современной правовой конкретике. Носители печати советского менталитета объясняют себе и окружающим свой страх «превысить пределы необходимой обороны», возникающий при защите их жизни и здоровья от сторонних посягательств, возможностью оказаться за решеткой в соответствии со статьями сто восьмой и сто четырнадцатой российского Уголовного Кодекса.

Однако, обратившись к тексту этих статей, изумленные читатели обнаружат, что даже в случае доказанной в суде вины защищающегося — что далеко не всегда удастся, соответствующие санкции не превышают **трех лет** в случае **убийства** нападающего при самообороне, и **двух лет** в случае **умышленного** причинения тяжкого вреда здоровью бандита.

Не будем разбирать вопрос с поимкой праведного убийцы и доказательствами его вины. Допустим, дело гражданина, позволившего себе роскошь самообороны, все же довели до суда. В этом случае судебная практика такова, что если человек не судим и психически нормален, в девяносто пяти процентах случаев российскими судами принимается решение об **условном осуждении**, после которого самооборонщик отправляется вовсе не за решетку, а домой. К тому же самому, как правило, сводится и большая часть составов преступлений, которые можно получить, защищаясь от реального и серьезного нападения.

Общеизвестно, что угроза жизни и собственности — вполне достаточное основание для готовности применить силу и летальное оружие. Однако, с этой мыслью сложно смириться многим гражданам, воспитанным в советском «государственническом» духе.

Особенно характерно их отношение к защите собственности. Ведь они зачастую соизмеряют покушение на имущество с покушением на жизнь, не понимая, что защищаясь, человек обороняет все вместе, целиком, — свои вещи, свой дом в совокупности с собственной жизнью и здоровьем.

Но оказавшиеся во власти «шведского синдрома» просто не в состоянии понять, что степень реализации посягательства должна влиять на умышленные действия, которые совершают-

ся реально, но никак не на готовность к их совершению. А у этих людей понятия смешиваются, и готовность превращается в твердое намерение обязательно убить. А ведь для нормальной адекватной реакции важна именно **готовность** к любым последствиям, а не **умысел** на их обязательное причинение.

Так почему же воспитанные на советских абстракциях гуманизма граждане **хотят** терпеть издевательства и побои, **готовы** понести серьезные увечья, стать ходящими под себя инвалидами и даже встретить смерть, потерять свое имущество, но... боятся защитить себя?

Почему они хотят лежать в земле, почему не хотят жить, хоть и сидеть в тюрьме, почему боятся иметь оружие, боятся стрелять, испытывают иррациональный страх перед применением холодного оружия?

Неужели потому, что уповают на всесильное и премудрое государство, или же потому что боятся кары этого государства за самостоятельно принятое решение, адекватное возникшей ситуации? По-видимому последний вариант ответа более правдоподобен.

Обратимся к этому иррациональному страху — принять решение о применении силы. Очевидно, что причина отказа от готовности применить насилие и летальное оружие заключается в боязни взять на себя ответственность за возможную необходимость принять решение.

Именно по этой причине определенная категория людей априори боится просто носить, ну а тем более применять «холодное» и «горячее» оружие, активно протестует против разрешения на свободное ношение средств действенной самозащиты. Эта же категория лиц всегда согласна на разного рода паллиативы в виде так называемого «нелетального» оружия самообороны, которое при ближайшем рассмотрении вовсе никаким оружием не является.

Отчего так? Просто потому, что, как уже говорилось выше, такие люди всегда готовы поддаться, убежать, уйти от ответственности, от них бесполезно ждать помощи жертвам нападения, они всегда склонны спрятаться за власть, какой бы людоедской или недостижимой она ни была.

ЧЕГО ТАК БОЯТСЯ ЭТИ ЛЮДИ?

Вместо активных действий или оказания помощи, призвание подобных лиц — заниматься самооправданием под воздействием пралогического страха перед карательной системой, которая представляется чем-то неведомым и потому страшным.

Налицо порок в логике мышления, отход от рациональной категории познания в сторону фрагментарных знаний и табу. Именно по этой причине члены многих доисторических, да и ныне живущих племен при нарушении шаманского запрета натурально умирали от собственного страха.

И неважно, что вместо табу в нынешней России выступают «непознаваемые» статьи Уголовного Кодекса по превышению необходимой самообороны, поскольку страх перед нарушением «неведомого» закона перевешивает риск реальной смерти или пожизненной инвалидности.

В первую очередь, все это является следствием минимального уровня доверия правоохранительным органам, наличия непрозрачной и управляемой судебной системы. Что говорит о том, что из всех функций уголовного законодательства, включая его ценность как общественного блага, в стране осталась одна-единственная — охранительная.

Другими словами анархия в государстве не наступает лишь потому, что люди попросту боятся наказания, что совершенно неудивительно и закономерно, и является планомерным итогом того, во что превратилось у нас правосудие.

Основополагающим мотивом поведения людей, преодолевших границы адекватности, здесь является не столько страх перед государством с его Уголовным Кодексом или боязнь нарушения норм общественной морали. В центре сил тут не что иное, как патология безволия, в свою очередь порожденная многолетней государственной политикой в этом направлении.

Так базовый инстинкт самосохранения и выживания входит в противоречие с некоей внешней общественной реальностью, которая затмевает собой возможность правильной реакции.

И вопросы выживания меркнут перед проблемами более низкого порядка, накрепко привязанные к степени социализации в слабом государстве, пытающимся стать сильным за счет человеческого естества.

Оружейная «свобода» в Китае и не только¹

Китай нынче в моде. Для одних он видится чудом, экономическим маяком, страной, поражающим всех небывалым подъемом производства, являющейся колоссальным потенциальным рынком сбыта и неиссякаемым источником дешевой рабочей силы. Для других Китай — творческий тигель продолжателей идей Ленина и Сталина, Троцкого и Мао Дзедуна, все еще тлеющий уголек марксизма в головах почти полутора миллиарда жителей, проживающих в третьей по величине стране мира. Для иных — Китай есть синоним азиатского способа мысли, древний очаг конфуцианства, незыблемый утес государственничества, евразийский Heartland и эпицентр геополитических волн по всему миру.

Но, как и у всего чудесного на этой земле, у коммунистического Китая также есть свой «скелет в шкафу», свои неприглядные стороны повседневного бытия, диалектически синтезирующие действительное, а не придуманное единство в понимании этой великой страны.

В этом очерке речь пойдет о ситуации в Китае с одним из основополагающих человеческих прав — правом владеть и применять, в случае необходимости, огнестрельное оружие. Посмотрим же попристальнее на китайские порядки с этого ракурса и зададимся вопросом: нравится нам это или нет.

Как и все китайское, оружейные законы и владение оружием в коммунистическом Китае одновременно очень просты и чрезвычайно сложны. Китайцы сталкиваются с оружейными запретами буквально на каждом шагу. Проще говоря, оружейные законы представляют из себя один большой запрет. Частное легальное владение любым ружьем, дробовиком или пистолетом полностью и абсолютно запрещено — никоим образом и ни при каких обстоятельствах частному лицу нельзя обладать оружием. Уличенные во владении

¹ При написании статьи были использованы материалы справочника владельцев оружия Лэрри Группа (Larry Grupp. *The Worldwide Gun Owner's Guide*. "Bloomfield Press", 2011). — О. В.

огнестрельным оружием сталкиваются с трехлетним тюремным сроком. Запрещены даже оружейные реплики — некогда флагман китайской торговли.

Здесь не имеет смысла задаваться вопросами владения несколькими видами оружия, проблемами переснаряжения, членством в стрелковых клубах и ассоциациях, легальной охотой, вдаваться в ограничения по калибру и типу оружейных моделей, интересоваться существованием охотничьих лицензий, правилами хранения или чем-то еще из вопросов, возникающих в оружейной теме любой другой страны мира. Само собой, в коммунистическом Китае нет и оружейных магазинов, которые можно легально посетить. Ведь оружие, как некогда запретный императорский район в Пекине, является табу для всех без исключения.

Надо отдать им должное, китайские власти доводят свою антиоружейную политику до полнейшего абсурда. В конце января этого года все супермаркеты Пекина начали требовать удостоверения личности для покупки ножей и прочих режущих предметов после предписания, сделанного органами безопасности. При регистрации покупатель столового или перочинного ножа обязан сообщить уполномоченному продавцу магазина свое настоящее имя, номер удостоверения личности, адрес проживания, а также «способы использования» ножа. Людям, не взявшим в магазин удостоверение личности, ножей просто не продадут.

Ножи запрещено продавать несовершеннолетним, а также лицам с «необычным» поведением, трактуемым совершенно вольно. При попытках приобрести ножи такими людьми магазин должен срочно уведомить близлежащий полицейский участок.

Однако весь этот абсурд вовсе не означает, что владение личным оружием или оружейная культура в Китае отсутствуют. Чтобы дополнить изумление и непонимание от направления мыслей китайских правителей (равно как и запретителей оружия по всему свету), заметим, что значительная и активно развивающаяся оружейная культура здесь существует несмотря на все эти запреты. Отчасти так случилось из-за про-

славления в коммунистическом Китае огнестрельного оружия как революционного фетиша (вспомните известные слова Мао о том, как винтовка рождает власть¹), отчасти оттого, что страна является одним из крупнейших в мире производителей оружия и патронов, а также имеет немалые спортивные достижения в области стрелкового спорта.

Китайцы придают огромное значение тому факту, что первая золотая Олимпийская медаль в восемьдесят четвертом году была выиграна Ху Хайфенгом в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции пятьдесят метров. А официальная команда национальных стрелков, по традиции выступающая под армейской маркой — совсем недавно выиграла пять из полсотни возможных золотых медалей по стрелковым дисциплинам на Олимпийских играх в Пекине.

Есть и другие важные факторы, которые вносят свой вклад в развитие оружейной культуры коммунистического Китая. Так, несмотря на то, что они никогда не смогут легально владеть огнестрельным оружием, практически все первокурсники проходят тренинг по целевой стрельбе на протяжении первого года обучения в средних специальных учебных заведениях. Раньше считалось, что это лишь подготовка к службе в армии, своего рода государственно-защитная мера. Теперь это выглядит просто как продвинутый отдых.

Необязательность исполнения законов и безудержное взыточничество, вкупе с крупномасштабным воровством на многочисленных военных заводах, вносят решающий вклад в общий котел нелегального оружия, доступного, при желании, многим гражданам Китая. Недавно у одного китайского товарища из Шанхая было изъято шестьсот тысяч единиц нелегальных патронов, находящихся в его распоряжении. Это не опечатка. Более полумиллиона единиц, которыми, как сообщалось в печати, он торговал по Интернету. За что торговец угодил на двенадцать лет в места не столь отдаленные...

¹ Тезис из речи «Вопросы войны и стратегии», с которой Китайский коммунистический лидер Мао Цзэдун выступил 6 ноября 1938 г. на Пленуме ЦК КПК.— О. В.

Воровство с заводов коммунистического Китая есть хорошо установленная, давно укорененная и широко известная всем традиция. Здесь действуют те же законы как, в случае, например, распространения китайцами Библий. Популяризация Библии также запрещена коммунистами, но юридически запрещенное ее распространение преспокойно наворачивается огромным числом перепечаток, причем сделанных вовсе не христианами. Принося неплохую экспортную прибыль, множество этих Библий преспокойно проходят через заднюю дверь китайской таможни на радость христианам всего мира.

Индустриализация коммунистического Китая также внесла свой вклад в нелегальное владение оружием. Ведь сверхточные, дальнобойные «матчевые» винтовки трудно изготовить «с нуля» в условиях простеньких деревенских механических цехов. Но тривиальные пистолеты и несколько более сложные автоматы и штурмовые винтовки относительно легко производить и там при наличии современных средств механизации.

Однако власти не дремлют. Они то и дело назначают наказания по огромному числу случаев незаконного владения этими деревенскими цехами, ведь в настоящее время там производится оружие и патроны в угрожающе больших количествах, главным образом, с целью продажи. Не следует игнорировать и тот факт, что исходя из программ экономической либерализации, значительное число людей в Китае становятся все более состоятельными. Если и не богатыми, то вполне себе представителями среднего класса. Как в той же Европе, новый средний класс рассматривает владение оружием в качестве символа своей значимости, обладания статусом и временем для досуга.

Лю Яньдун, единственная женщина, входящая в политбюро Коммунистической Партии Китая, как-то объясняла, что разрешение населению копить богатство путем либерализации экономической системы страны, в конечном счете, разрушит коммунизм. Она даже говорила, что это, («не приведи Господь!») может привести к разрешению на владение

оружием. Однако, хотя рост богатства и подтачивает год за годом официальную китайскую идеологию, правовая система страны пока еще не допускает частного владения оружием **на законных основаниях**. Между тем доход в Китае на душу населения уже взлетел до небывалой цифры в пять тысяч шестьсот долларов, и все продолжает расти — гораздо быстрее, чем угасает коммунизм.

Как могут догадаться читатели, драконовское оружейное законодательство коммунистического Китая восходит к жесткому режиму Мао Дзедуна. Большинство здравомыслящих людей сходятся во мнениях, что демагогия коммунистического коллективизма в принципе не может быть успешной среди вооруженного народа. Мао, принеший смерть не менее шестидесяти миллионам своих беззащитных соотечественников ради укрепления своей власти и уничтожения любых остатков свободы, прекрасно это знал.

В коммунистических сообществах — так уж у них заведено — **запрещается личное владение оружием в целях обеспечения всеобщего повиновения**. Ведь народ, с точки зрения коммунистов, постоянно пребывает в детском возрасте и **никогда не взрослеет**. В целях пропаганды конечно же говорится ровно обратное. Несложно заметить, что предотвращение такого положения дел и является главной причиной того, что демократические страны не просто допускают своим гражданам иметь оружие, но и, по примеру Америки, Финляндии, Израиля, Швейцарии или Новой Зеландии, их всячески в этом поощряют. Для коммунистического Китая такой порядок — пока что несбыточная мечта.

Оружие, оставшееся после гражданской войны, которая завершилась в Китае в октябре сорок девятого года, несомненно являлось существенным сдерживающим фактором на пути построения коммунистических порядков. До тех пор, нищие, в большинстве своем, китайские крестьяне не обладали огнестрельным оружием. Да и мало кто в стране вообще им обладал. Китайцы были слишком бедны для этого. А то, что подобрали бедняки с мест сражений или было разворовано из военных хранилищ, они немедленно продали.

Поэтому, когда Мао в пятьдесят восьмом году начал воплощать в жизнь свою теорию так называемого «Большого Скачка», у земледельцев не было никакой возможности самозащиты. По скромным подсчетам, сделанным самими коммунистами, как минимум двадцать миллионов человек умерло от жестокого голода в результате политики разорения крестьянства. Конечно, это не абсолютный мировой рекорд для одной страны, но весьма близко к тому.

Обладание оружием среди гораздо менее многочисленных, но до определенной степени более богатых и интеллигентных городских жителей было, если и не всеобщим, то и нередким. Во время «Большого Скачка», этот пласт людей не так сильно пострадал от бесчеловечного правления Мао, который тогда еще не нуждался в запретительном оружейном законодательстве.

Как известно, кровавые компании Мао состояли из двух составляющих: «Большого Скачка», предполагавшего уничтожение крестьян, и второй компоненты, реализуемой с шестьдесят шестого года и известной как «Культурная Революция». Последняя, как впрочем и любая революция, была направлена на искоренение как класса учителей, профессоров, инженеров, фабрикантов, рабочую аристократию и прочие категории граждан, близкие перечисленным. Все они, как правило, имели некоторое количество припрятанного для себя огнестрельного оружия.

Осознав гипотетическую опасность, в шестьдесят шестом году Мао обнародовал первые в коммунистическом Китае законы, запрещающие оружие. Он должен был разоружить своих подданных, в противном же случае, его неблагодарное дело могло быть поставлено под угрозу. С тех пор коммунистические анти-оружейные законы так и продолжают действовать, но все они, по существу, датируются эпохой Мао и его «Культурной Революции».

После демонстраций сторонников демократии в восемьдесят девятом году, даже обычные реплики оружия сделались предметами *non grata*. Эти реплики должны были быть чрезвычайно популярны в Китае, поскольку органы государ-

ственной власти рапортовали о конфискации и уничтожении сотен тысяч из них. А уцелевшие экземпляры, вроде оружейных копий для «страйкбола», были экспортированы в ту же Америку. Интересно, что этот экспорт не прекращается и до сих пор.

Абсолютно любой тип владения, импорт и экспорт в личных целях, либо частное производство огнестрельного оружия и патронов были запрещены. Под запрет попал и весь спектр пневматического оружия, которое производят миллионными тиражами на китайских оборонных заводах исключительно для внешнего рынка.¹ Хотя чиновники и признают, что многие из этих запретов попросту игнорируются, главным образом в провинциях, тем не менее драконовские наказания и штрафы поджидают всех, кого власти застукали с оружием любого типа.

Однако, верят ли на самом деле все эти винтики коммунистической государственной машины, что где-то вообще может существовать свободная от криминала и оружия страна, в которой, например, в банках, при передаче денег, или в магазинах, при покупках, на частных лиц никогда не наводится дуло пистолета? Где неизвестны массовые убийства граждан сумасшедшим придурком с пистолетом (бывает что и в милицейской форме)? Где находящиеся под воздействием дури преступные банды никогда не устраивают перестрелок? Если такая страна и есть, то не называется ли она Утопией, к которой так стремятся сторонники запрета оружия?

Тем не менее назло пропаганде, те кто имеет оружие, знают ответы на подобные вопросы. Пока властями коммунистического Китая лишь неохотно признается, что преступления с применением огнестрельного оружия частенько имеют место, чему официальные китайские представители, впрочем, быстро находят оправдания, при этом занижая всякий раз цифры официальных отчетов по применению ору-

¹ Становится немного не по себе, когда видишь в отечественном оружейном магазине огромную массу китайских пневматических винтовок и пистолетов, совершенно недоступных для граждан страны-производителя.— О.В.

жия в преступных целях. Они с истинно восточной стойкостью безразличны к преданию гласности того, что их политика явно несостоятельна, за исключением признаний, что преступность стала уже настолько заметной, что ее нельзя «замести под ковер».

Чего стоит один только судебный процесс в Чунцине, по итогам которого вскрылись многие неудобные для Китая факты. Так, выяснилось, что в этом крупнейшем в мире городе долгие годы царил полный беспредел, фактически им правили около пяти тысяч бандитов, тесно сращенных с местной властью и партийными лидерами. Обнаглевшие уголовники из «триад», при попустительстве полиции, расстреливали неугодных среди белого дня в самом центре города и устраивали показательные казни с расчленением тел. К наиболее яркому примеру вседозволенности криминала в Чунцине можно отнести нападение банды численностью не менее ста человек на местный аэропорт.

Борьбу с преступностью в Чунцине начали в июне двух тысячи девятого года с рейдов на незаконные оружейные фабрики. После захвата почти двух тысяч единиц огнестрельного оружия, по всему городу начались аресты. Сначала в операции принимали участие три тысячи полицейских, в большинстве присланных из других городов, однако совсем скоро их число повысили до двадцати пяти тысяч. Было арестовано несколько тысяч человек. Среди них немало городских чиновников, в том числе и бывший помощник начальника городской полиции и глава департамента юстиции Чунцина Вен Ксянг. Его, сколотившего более чем стомиллионное состояние, считают крестным отцом чунцинской преступности, который вместо того, чтобы бороться с ней, ее защищал. По местным оценкам, во взяточничестве и связях с криминалитетом замешан каждый пятый чунцинский полицейский.

Интересно, что в две тысячи одиннадцатом году бывший член политбюро КПК и секретарь партийного комитета того же Чунцина Бо Силай даже попытался создать частную армию. Для этого он через заместителя главы правительства

Чунцина Ван Лицзюня и управление общественной безопасности города приобрел на местной оружейной фабрике пять тысяч единиц огнестрельного оружия и пятьдесят тысяч магазинов с патронами. Китайские источники не сообщают, нашла ли специальная группа, посланная центральным руководством вооруженной милиции, где хранится это вооружение.

Итак, как было отмечено вначале, существует множество мест и способов, посредством которых люди даже в строго контролируемом коммунистами Китае могут стать обладателями оружия и патронов. Как и наркотики, оружие всегда будет доставаться людям, которые чувствуют в нем необходимость и кто имеет деньги, чтобы заплатить. Способы владения оружием, равно как и протоколы его изъятия в коммунистическом Китае подтверждают истину, что богатеющие представители быстро развивающегося нового китайского среднего класса готовы за это платить. Все это приводит к определенным дополнительным оружейным аномалиям, так характерным для все еще коммунистического Китая.

Сведения из достоверных источников и открытые материалы сообщают нам, что высокопоставленные армейские офицеры, имеющие доступ к спортивному оружию — преимущественно дробовикам — организуют выезды на охоту и стрельбы в отдаленных регионах. Ведь во всем мире, и Китай здесь не исключение, богатые деловые люди, которым наскучил гольф, стремятся на природу, чтобы поохотиться на птиц и даже на дичь большего размера, или попросту пострелять по бутылкам.

Также как и в России времен «перестройки», военные в Китае часто закрывают глаза на «заимствование» оружия или даже его кражу из арсеналов, принадлежащих к огромной сети, разбросанной по стране. Этому, вероятно, способствует невероятно плохой учет оружия, пожалуй, зачастую намеренно плохой.

Между тем наблюдаются и некоторые положительные сдвиги в официальном подходе к оружию. Кажется, китай-

ские чиновники все же начинают признавать и учитывать быстро растущую и дееспособную оружейную культуру своего государства, санкционируя и налаживая по всей стране систему стрельбищ. Конечно, эти стрельбища не соответствуют общемировым стандартам, но они есть!

Места для стрельбы в коммунистическом Китае принадлежат и управляются китайской Красной армией. Однако, используются они уже, главным образом, не для армейских нужд, а для развлекательной стрельбы. При этом все оружие и патроны контролируются военными, включая, естественно, и оружие боевого применения.

Те, кто желает пострелять, выбирают одно или несколько видов оружия из местного арсенала. Вооружение варьируется от станковых пулеметов до АК-47с, автоматов ППШ41 и пистолетов Токарева (ТТ). Иногда присутствует американское огнестрельное оружие наподобие M-16s или BAR¹.

Посетители могут выбрать себе дробовики, из которых стреляют по тарелочкам, но большинство людей все же предпочитают потарахтеть из автоматических штурмовых винтовок или автоматов.

Основной клиентурой этих стрельбищ являются иностранные туристы вроде японцев и американцев, а также деловые люди. Хорошо, что такие места теперь стали доступны и для китайцев.

Чему же нас может научить китайский опыт отношения или же, вернее сказать, борьбы с оружием? Много чему на самом деле.

Во-первых, вопреки всем наветам и заклинаниям даже такая, казалась бы, оружейно-оскопленная страна как Китай имеет свою оружейную культуру и преданных поклонников оружия. При этом перспективы Китая по улучшению оружейного законодательства налицо.

Во-вторых, склонные к идеологическим репрессиям режимы благодаря своей закрытости довольно уязвимы, и

¹ BAR — автоматическая винтовка системы Браунинга.— О. В.

всегда можно привлечь внимание к тому, в чем они крайне нуждаются, в целях продвижения и восстановления там прав и свобод.

В-третьих, в тех странах, где граждане сталкиваются с дефицитом свобод, теневая экономика всегда помогает заполнить лагуну. При этом черный рынок гражданского оружия всегда достаточно ограничен, и усилия правительства урезать права людей имеют предсказуемый эффект на черном рынке — попросту стимулируя его рост.

Заметим, что страны с наиболее либеральными оружейными законами, как правило, имеют и наиболее сильные экономики, более открытые рынки. В таких государствах обычно уважаются права и свободы человека, законы частной собственности и здравого смысла. Легко заключить, что правительства, доверяющие своим народам в области экономики и производства, также могут положиться на них в отношении огнестрельного оружия. В любом случае неизменно то, что страны с большими степенями свободы, имеют самые адаптивные, быстро развивающиеся экономики.

Нравится кому-то это или нет, но оружие будет пребывать с нами в обозримом будущем. Хоть правительство той же России и выступает против того, чтобы отдать нам **их оружие**, купленное, кстати сказать, на наши деньги, действительность показывает, что главным источником нелегального оружия являются именно представители власти, имеющие полное право быть вооруженными до зубов на вполне законных основаниях.

Миф о том, что гражданское оружие пополняет залежи нелегального оружия — ложь от начала до конца. В противном случае, гражданское оружие никогда бы не производилось и не распространялось десятками миллионов экземпляров, как это происходит с автоматами АК-47с, М-16s, FN FAL¹ и карабинами СКС. Да и не может существовать такое количество оружия в личном пользовании, которое могло бы как-то целенаправленно проникнуть и распространиться даже в небольшие страны. Преступные сообщества и вороти-

¹ Бельгийская винтовка.

лы черного рынка вовсе не придурки или бессребреники из пропагандистских сериалов «про ментов в законе», они всегда рассчитывают на реальную прибыль от грузов из крупномасштабных поставок.

Россия, где начиная с восемнадцатого года отменено разрешение на короткоствольное оружие, также как Вьетнам, Китай и другие страны, где царствуют оружейный запреты, зачастую лишь множит свои неприятности, выставляя на улицы все больше и больше чиновников в униформе или же штатских с оружием в руках, не замечая, что при этом увеличивается вероятность перехода самого что ни на есть официального оружия в нелегальную сферу.

Низкооплачиваемые, отчаявшиеся госслужащие, как известно, продают свое украденное, «потерянное» или иным путем доставшееся от государства оружие за наличные. Поэтому, следуя древней истине «Врач, исцели себя сам», всем нам вполне можно предложить правительству, которое стремится к разоружению своих граждан, последовать этому примеру и **сперва разоружиться самому.**

Что касается бесконечных, бесполезных и дорогих компаний по разоружению добропорядочных граждан, то они не просто лицемерны и аморальны, они — антиморальны. А к тому же расточительны, умопомрачительно неэффективны и обречены на провал.

Постоянное следование курсом на ограничение прав граждан граничит с безумием, но это еще, по меньшей мере, и дорогое удовольствие, отвлекает скудные бюджетные ресурсы правоохранителей на манипуляции с добросовестными налогоплательщиками, уводя их от главной задачи — первоочередного разоружения преступников.

Правительственные законопроекты, оставляющие представителей власти полностью вооруженными, а народ беззащитным «для их же собственной безопасности», в лучшем случае вызывают подозрения, в худшем — являются открытой формой тирании.

Во всех случаях владения оружием частными лицами существует значительный элемент личной ответственности и

определенная открытость. В обществах, которые теряют эти черты и приходят к переключению на правительство данных качеств, похоже, теряется и моральная возможность обладать оружием и ответственно его использовать.

Правительство должно обеспечивать эффективные и простые методы владения огнестрельным оружием, поставив в качестве задачи обучение безопасному, ответственному владению оружием и соответствующее образование граждан. И, поверьте, страна станет более безопасным местом для житья. Учитывая непрекращающееся бление ряда «новостных» СМИ о противоположном, будем помнить, что невежество редко бывает жизнеспособной стратегией прогресса. В любом случае, мир в этом прекраснейшем из миров может поддерживаться исключительно посредством силы.

Наум Коржавин

Опыт внутренней биографии¹

Как бы ни развивались мои отношения с правящей идеологией, был ли я ее адептом или противником, мои представления и взгляды — несмотря на то, что мыслил я самостоятельно, — покоились на весьма ложном основании.

Содержание моей жизни в эти годы составляли не поиски истины — они происходили, так сказать, подспудно, нецеленаправленно, почти неосознанно, а стремление эти ложные взгляды во что бы то ни стало соотнести с реальной жизнью, слова с делами и другими словами.

Может быть, на фоне жизни, где не только не хотели, а боялись задумываться — это выглядело чем-то иным, тем не менее, у меня нет никаких оснований предполагать, что я был в чем-либо лучше или выше других, если исключить некоторых писателей и поэтов. Это я говорю не из ложной скромности, а из верности истине.

Эта честная потребность веры, потребность в цельности — качества, в общем, похвальные, — в силу характера времени часто приводили меня к тому, к чему не пришел бы самый откровенный конформист и жулик — к восторженному приятию зла. Торжество зла они принимали как данность, с которой приходится считаться, я — как откровение. «Plus royalist que roi!».

Именно это не помешало мне в сорок пятом—сорок шестых годах вполне добровольно раза два общаться с эмгэбешника-

¹ Начало в № 245 — 2013 года. — Ред.

ми и вести с ними интеллектуальные беседы. Сознаюсь, что мне было не противно, а интересно: я их считал своими единомышленниками.

Впрочем, если говорить честно, эти люди, равно как большинство следователей, через два года ведших мое следственное дело, и не производили впечатления монстров и палачей. Настоящие монстры появились в кабинете следователя только однажды с тем, чтобы я назвал всех своих знакомых.

Вопрос был глупый — я был знаком с половиной Москвы, — но мне запомнилась невзрачность одного из них и порочно-красивое лицо другого. Первый был просто подленький дурачок, я его однажды видел в ЦДЛ на вечере Литинститута, когда ребята меня подозвали к столику, за которым сидел малознакомый мне Телегин и один из моих товарищей по институту — потом его испуганные показания фигурировали в моем деле как показания свидетеля.

Второй был жестокий циник. По некоторым описаниям, он похож на Рюмина, но я в этом не убежден. Чувствовалось, что мои следователи к этим визитерам относятся с молчаливым неодобрением. Впрочем, это не мешало им самим добиваться ложных показаний у других заключенных.

Тем не менее, они не были монстрами. Они были обыкновенными советскими людьми — такими же жертвами демагогии и террора, как все другие, хотя этот террор выпало осуществлять именно им.

Когда я сказал бонвиванистому капитану МГБ, принимавшему участие в моем аресте, что как же так, я ведь не антисоветчик, он глубокомысленно заявил: «Но ведь репрессии необходимы». Видимо, им на политзанятиях так говорили.

В том и ужас, что самые страшные дела на Руси делались руками самых обыкновенных, а иногда и просто хороших — то есть совсем не расположенных ко злу — людей. И так же, как и я, мои следователи и те, с кем я «общался» в сорок пятом—сорок шестом годах, — придумывали себе философию, вполне оправдывающую их неблагоприятную деятельность. И были, вероятно, отчасти благодарны мне за то, что я это делал с большим блеском, чем они. Но я это делал не для них,

а для себя: в оправдании их деятельности нуждались все, у кого не хватало мужества и мудрости ее осудить.

Ни во время моего «общения», ни во время «следствия» я ни на кого из знакомых никаких «порочащих» показаний не дал. Не могу сказать, что это потребовало от меня героизма — от меня этого не очень добивались. И говорю я об этом сейчас для того, чтобы сообщить не об этом нормальном факте, а о том, что, как это ни глупо, это стоило мне мук, но отнюдь не физических, а только моральных.

Далеко не все мои знакомые придерживались моих новых взглядов и — несмотря на то, что знали о моих хождениях в МГБ (тем более, я о них говорил всем и всякому, даже фактически написал в стихах), — мне доверяли по-прежнему и спорили со мной. Согласно моему революционному моральному кодексу — в то время уже достаточно архаичному — я обязан был, если не прямо донести на них, то уж во всяком случае, честно ответить на поставленный вопрос.

Формы классовой борьбы, адекватность которых данному историческому моменту была гениально угадана великим Сталиным, требовали насильственной монолитности. Всякая сентиментальность тут автоматически исключалась — с моего согласия, конечно.

Но дать такие показания я, тем не менее, не мог. Я считал, что веду себя неправильно, позорно, я брал грех на душу — но выполнить это условие моего морального кодекса был не в состоянии. Спасло меня и то, что в какой-то момент я почувствовал, что все они винтики машины, — очень в данный момент нужной, но все-таки машины. И несмотря на всю мою развращенность диалектикой — ядовитая это штука, позволяющая ко всем вокруг относиться «диалектически» и «творчески», то есть равнодушно, — все во мне воспротивилось этому. Не знаю, как бы я жил, если в какую-то минуту мои воззрения победили мою природу... Меня Бог спас.

Будучи страстным сталинистом, должен честно сознаться, что самого Сталина я не любил никогда. Ни его самого, ни обстановки, которую он создал в стране. В силу причин, которых я касался выше, в силу того, что мировой революции спо-

собствовал именно Сталин, присоединяя к «ней» страну за страной — я считал это отсутствие любви к нему своим крупным недостатком, просто недостаточностью. Я заставлял себя любить его, и нет ничего удивительного, что эта рассудочная любовь оказалась без взаимности. Сталин любил, чтобы его любили в установленных формах, а никак не самостоятельно.

Вообще тогда в моей душе господствовали две стихии — Революция и Россия. Революция была связана с некоторой устремленностью, с активностью, Россия — с чем-то, умеряющим страсти, — с соразмерностью, с почвой, с земным воплощением духовности. Эти стихии, скорее, боролись во мне, чем мирно сосуществовали, но все же они странно взаимодействовали в моей душе.

Казалось, что Сталин открыл Россию раньше меня (потом я понял, что открыл не Россию, а способ эксплуатации ее недостатков): в то время как я эстетически наслаждался собственной революционностью, другие грубо, единственно возможным способом делали то, что надо. «Потому что они мужчины, — думал я про себя, — а не отщепенцы и слюнтяи». А каждому мальчику страшно быть не мужчиной. Странное было представление о мужестве в те страшные годы.

В среде интеллигентской молодежи оно представляло собой некое сочетание духа процветания и страха.

Впрочем, одно от другого неотделимо.

Я тоже считал себя сильным и любил свою силу. Одна только сила, согласно моему тогдашнему убеждению, в «наших трудных условиях» давала возможность (и право!) сознательно и творчески участвовать в жизни, а не превратиться в навоз истории, который хотя и исторически (и трагически тоже — так я тоже думал, я любил трагедию) необходим, но становиться которым мне не хотелось, и я по праву сильного «имел право» не становиться.

Эта апология силы и жестокости вовсе не насаждалась официально — те, кто творил жестокости, вовсе не стремились сводить концы с концами, они просто их отрицали, но она сама вытекала из общей обстановки, из желания жить осмысленной жизнью. В моем представлении возникал некий

орден посвященных, некое новое дворянство, которое пронесет сквозь жизнь, но не проявляет открыто, все те же идеалы революции, и надо только завоевать честь принадлежать к этому ордену.

В каком-то смысле это было странным отражением того, что тогда возникало и в жизни. Я уже говорил о попытке Сталина создать сословное государство, а значит, и свое дворянство. Но только в каком-то смысле. Ибо в жизни честь принадлежать к этому ордену сплошь да рядом завоевывали люди, отнюдь не «революционные» и вообще недостойные какого-либо дворянства, но это, конечно, меня не останавливало. Я был марксистом и хорошо знал, чем отличается частное от всеобщего.

Это мужество — в основном это было мужество по отношению к чужим несчастьям — в сочетании с диалектикой могло преодолеть все противоречия на земле. Как я уже говорил, я не мог верить, что Бухарин — шпион, убивший Ленина. Но я верил, что сейчас (ох уж это вечное «сейчас!») говорить так надо из тактических соображений, ибо такие люди, как он, объективно (опять много крови оправдавшее и много лжи утвердившее словечко) вредны, потому что революция пошла другими путями, которые не могут стать для них приемлемыми. То есть опять потому, что у них не хватило пресловутой силы.

Силы! Силы! Силы! Получалось, что во имя торжества мировой революции в России необходимо, чтобы человек, не желающий быть вышеупомянутым навозом, должен становиться вариантом «белокурой бестии». Правда, этому я придавал романтическую — в духе Гумилева — окраску: нужно быть сильным, чтобы оберегать женственность и прочие духовные богатства жизни, «охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам», — но суть от этого не менялась.

Конечно, смешно, что этот романтический культ сливался с образом руководящего работника, насаждавшегося как идеал по официальной воле — героя всех тогдашних книг и фильмов, из которых не все казались мне тогда плохими.

Но что поделаешь! В закрытом обществе создается своя искусственная шкала человеческих и эстетических ценностей, своя печка, от которой танцуют. И очень тяжело дается человеку такого общества реальная шкала, реальная иерархия ценностей.

Я — первый тому пример. И все-таки думаю, что, несмотря на всю свою абсурдность, все вышеприведенные мысли и построения были определенной вехой моего развития, шагом на пути возврата к реальной шкале, реальной иерархии ценностей. Даже эта дешевая «религия мужества» в каком-то смысле пошла мне на пользу. «Белокурой бестией» я все равно не стал, но навсегда отучился от эстетизации слабости — от романтизации неудачной любви, несчастья, жалкости, поверженной справедливости, от того гнета местечковости, который все еще довлел надо мной.

Я и теперь считаю, что это хорошо.

Человек, защищающий справедливость и другие человеческие ценности, не может себе позволить быть жалким. Несчастливым называется не тот, у кого случается несчастье, а тот, кто чувствует себя несчастным, у кого самосознание несчастного человека.

Это, конечно, не значит, что можно не сочувствовать чужой беде, человеку в несчастье. Да и вообще все имеет пределы. Как бы ни выглядел человек в руках палача, что бы тот ни заставил его сказать или сделать — жалок не человек, а палач. И забывать об этом грешно: это слишком выгодно палачам. Мысль эта принадлежит не мне, она содержится в одной работе, почти не ходившей в самиздате. Но я ее полностью разделяю.

Но здесь речь идет о мужестве как о внутренней устойчивости, о самостоятельности, а не как о «завоевательности» «сильного мужчины». Этот почти так же жалок, как и палач. Кстати говоря, идеология маленького человека, согласившегося считать себя маленьким, а кого-то большим, — обратная сторона идеологии сильного мужчины. Маленький человек — это «сильный мужчина», запросивший прощенья. С настоящей скромностью это не имеет ничего общего. Ведь это

отсутствие претензий не на внешнюю роль, а на внутреннюю ответственность за жизнь.

Чрезвычайно комическое впечатление производил такой «сильный мужчина» в нашей стране. Для того чтобы быть сильным, иметь сильные позиции в жизни, необходимо было пресмыкаться и... бояться даже собственного чиха. И, конечно, угодливо лгать. Не признавать ложь нужной, как я, а лгать ежедневно и ежечасно, жить во лжи, окончательно потерять себя.

Я этого не умел. Я был два года сталинистом, но сталинистом с большевистской идеологией и психологией, что и определило ряд моих неудач — прежде всего, арест: сталинизм не терпел раздвоенности.

Но и моя жизнь не обошлась без падений. Эти падения серьезно усугублены тем, что всему, во что я падал, всему, перед чем мне приходилось в связи с тогдашними формами жизни отступать, я придавал высокий духовный смысл. А ведь все от стремления к духу и истине.

Странно проявлялось в те годы стремление к истине — заводило все дальше в ложь.

Большая вина за прегрешения, подобные моим, лежит на романтической литературе двадцатых годов, которой я очень долго увлекался. Она создана в основном не большевиками, а «попутчиками», со страху — чтобы принять то, что принять нельзя, — и создавших революционную романтику и диалектическое отношение к жестокости.

Эта литература выглядела почти взрослой, почти серьезной, почти интеллигентной, почти убежденной. Она писала, вернее, изображала правду. Только без ее существенного элемента — без правды естественных критериев. Она как бы легализовала уход от них.

Потом она стала вспоминаться, как эпоха «штурм унд дранга» и яркого творчества, но просто ее лакейство перед грубой силой было гораздо тоньше, тлетворнее и соблазнительнее, чем прямолинейное лакейство поправших ее тридцатых.

Но попрание критериев, позволившее этой последней воцариться, произвела именно она. Ответственность лежит на ней, а не на том, что было потом.

Играла свою роль и более примитивная литература — всякие книжонки о сознательных и дружных пионерах, непрерывно занятых сознательной помощью взрослым в их созидательном труде и борьбе с врагами.

Ах, какие это были дети, как переполнена была сознательностью и идейностью их жизнь — не то, что у ребят из нашего двора. Везет же людям. Я вырос в ощущении, что такие дворы, переполненные такими ребятами, есть везде, где меня нет. Такой уж я невезучий.

Вероятно, соответствовать такому идеальному двору и искать его я пытался еще довольно долго и после детства. Так что не надо думать, что такая литература совсем не действительна. Восприимчивость — хорошее человеческое качество, но оборотную сторону, как видите, имеет и она.

Но какие бы насилия я над собой ни производил, все же, как я думаю, одно положительное качество у меня было: я писал и говорил правду, я всегда интересовался тем, что для меня правда и почему это правда... От чтения моих стихов даже того времени, не возникает ощущения благодушия и успокоенности их автора. А ведь именно этим отличались стихи многих моих сверстников — причем совсем не обязательно все они были и оказались бездарными рифмоплетами. Они писали честные стихи о войне, со множеством реалистических деталей, с ощущением ее трагедии. Иногда эти стихи были даже очень яркими.

Не имели они только одного — отпечатка личности, имеющей к жизни определенные претензии, то есть не имели определенного представления жизни, определенного, простите за банальность, эстетического идеала. И поэтому, когда было сказано: «хватит о войне», многие из них задержались, как рыбы на берегу. Пошли образные стихи о каменщиках и металлургах и бликах солнца или мощных ламп, играющих — для художественности — на орудиях их труда (это отличало таких авторов от стихотворцев типа Софронова, который обходился без этих признаков художественности). Почему-то считалось, что от самих этих признаков появится глубина содержания.

Короче говоря, было что угодно, но только не обобщение, не дух, не откровение. Не было ничего этого и в большинстве стихов о любви, которая вне любящей личности и вообще-то превращается в пустой символ. Не последнюю роль в таких стихах, в их обеднении сыграл и культ мужественности, о котором я уже говорил. На практике он выродился в культ бесчувственности. В трех соснах этой показной мужественности не раз запутывалось и мое чувство, и моя лирика. Иногда я прорывался сквозь это. Тогда что-то получалось.

Именно тогда я впервые столкнулся с эстетическим принципом, пришедшим к нам из предреволюционных лет и многих утешившим в двадцатые и тридцатые годы: «Важно не что, а как». В момент своего возникновения этот принцип тоже не был чересчур содержательным, в двадцатые годы он стимулировал предательский по отношению к духу натурализм, а в тридцатые абсолютно раздавленному писателю внушал, что у него все-таки есть какая-то своя область, где он не раб, а жрец (такой области не было). Думаю, что сильно помогали этой иллюзии не только Маяковский со своим «Как делать стихи», но и остальные — иногда большие поэты «Серебряного века», допускавшие наряду с глубокими и столь же неаккуратные высказывания, по сути, отрицавшие их же собственное творчество. Правда, они все эти вещи понимали сложнее, и у них было главное, как бы вынесенное за скобки, но все-таки пошлое, прямолинейное, претенциозное слово «новатор» относится к их словарю.

Странную роль в моей жизни сыграл марксизм.

Мыслить я научился (если научился) — с его помощью. И в этом нет ничего удивительного. Ложная или неложная это система, но это система мысли. Причем, система, связанная своими истоками со всей историей и культурой мысли, вполне — при отсутствии других коммуникаций — могущая служить своеобразным мостом к остальной культуре. Даже проблема личности и ее взаимоотношений с обществом мне стала известна и понятна через марксизм.

Вряд ли я теперь марксист. В марксизме меня не устраивает претензия на абсолютное понимание жизни и ее ценностей, вообще претензия на абсолютное знание, а также то — это сказал Сент-Экзюпери, — что он рассматривает человека только как производителя и потребителя.

Впрочем, если верно, что никакая теория сама по себе не наделяет человека личной мудростью, не спасает его от непонимания жизни и ее смысла — и даже просто смысла производимых им самим слов, верно и то, что любая теория, если она честно пытается что-то объяснить, даже если ее потом отбросят как неудобную, может открыть дорогу к мысли человеку, который этого желает. Уже тем, что она его в этот мир вводит.

Меня марксизм научил прямо противоположному подходу к человеку, чем тот, который справедливо увидел в нем Сент-Экзюпери. Мне он открыл дорогу к тому, что, по мнению многих, — нельзя сказать, чтобы бесосновательному, — он прежде всего отрицает: к Духу.

Через марксизм же я прикоснулся впервые к философии истории и — правда, это факт моей биографии — к России, ее истории и смыслу ее истории.

Но пока это более точное понимание ценностей, в том числе ценности собственной личности не толкало меня и многих других глубже в оппозицию. Наоборот, именно это заставляло нас мириться с ужасами сталинизма как с объективно-исторической необходимостью. Ибо никто не сомневался в том, что личность, идущая против воли истории, терпит крушение — прежде всего, как личность.

Это положение никем вокруг меня под сомнение не ставилось. И вот получалось, что грубый, низколобый, низменный человек непостижимым образом становился носителем этой необходимости, от которой зависели не только наши судьбы, но и ценность нашего внутреннего содержания. Ибо протест против выражаемой им «необходимости» столь же мистически превращал нас в наших же глазах в мелкотравчатых и провинциальных носителей мещанства, в тот же самый навоз истории. Марксизм весьма располагает к ницшеанской психологии.

Конечно, он озабочен только массами, их решающей ролью в истории. Массы — господин, все остальное только им служит. Но если вдуматься, этой решающей роли не позавидуешь. И нет более страшного наказания для большевика, чем вернуться обратно в массы, в народ. И это естественно: обидно быть бессмысленным, бессловесным, хоть и главным актером истории, неотличимой каплей мирового океана, глиной в руках лиц, «понимающих законы истории». Другое дело быть — ну пусть не руководителем, пусть выразителем этих масс, их исторической роли.

А для этого роль надо выражать правильно. Так что — с исторической необходимостью лучше не ссориться, а то сам себя в навоз произведешь и навозом признаешь.

Но в то же время — несмотря на такой фатализм — разговоры об исторической необходимости были для нас единственной отдушиной, через которую мы позволяли проникать в наше сознание реальности, ибо она была как раз тем, чем во имя исторической необходимости следует пренебречь. Вот и говорили — а я писал, чем именно следует пренебречь. Эта забота об истории и ее необходимостях была не более, чем духовным извращением. История сама о себе позаботится, если что-либо будет ей необходимо.

Мы же должны заботиться только о добре и красоте. И, конечно, о правде.

Но эти искания и искажения отнюдь не были всеобщими. Большинства народа они вовсе не касались. Почти совсем свободна от них была — хотя по другим причинам — и люмпен-бюрократия, о которой шла уже речь выше. Я употребил уже этот термин, касаясь вопроса о так называемой «советской интеллигенции», которую, строго говоря, правильнее называть «люмпен-интеллигенцией».

Провести четкую границу между «люмпен-интеллигенцией» и «люмпен-бюрократией» невозможно, ибо первая питает и поддерживает вторую. В сущности, правители, не умеющие управлять, но компенсирующие это той или иной формой террора, не так уж сильно отличаются от учителей, не умеющих учить и не знающих своего предмета, но опираю-

щихся на идеологическую фразеологию и интриги, то есть на ту же власть, на тот же террор.

С каждым годом их становится все больше. Единственное нормальное положение для них — это когда положение ненормально. Одна карагандинская дама, жена работника КАРЛага, любящая мать, в очереди говорила другой такой же — когда объявили о прекращении дела врачей и о злоупотреблениях органов бывшего МГБ: «Хоть бы лагеря еще два года продержались — детей на ноги поставить».

Думаю, что этот «класс» давно перестал быть явлением только советской жизни — или стран социалистического лагеря. Например, к нему определенно относится английский рабочий композитор Ален Буш, который сегодня, в дни оккупации Чехословакии, выступает даже против своего, весьма осторожного руководства, которое все-таки осудило эту оккупацию. Он ее безоговорочно поддерживает. «Я бывал во всех восточноевропейских странах и знаю, — говорит он, — что интеллигенция любой из них, кроме Болгарии (видимо, в Болгарии с ним не откровенничали), проникнута контрреволюционными настроениями».

Обратите внимание на логику: человек обнаружил «настроения», не потрудился поинтересоваться, откуда они берутся, насколько они основательны с точки зрения жизни в этих странах, а действует по принципу: «Обнаружил — дави!». Знакомый принцип?

Откуда такой коммунистический раж у человека, живущего в Англии? А оттуда, что композитором он может быть только с помощью государства. Эта помощь в социалистических странах ему — как «хорошему человеку» — была обеспечена, а при Дубчеках он вполне мог бы ее лишиться — зачем чехам, в том числе чешским рабочим, какие-то особые рабочие композиторы?. Пришлось бы остаться один на один с музыкой, как в Англии. Ему этого, поверьте, не хочется.

Я не утверждаю, что в этой своей логике он откровенен, люди его породы «о себе обычно не думают, а только о других и об общем деле», но на самом деле они думают только о себе,

но только скрывают это и от себя — честность мысли и открытость самосознания не их добродетель.

Лично я предпочитаю откровенных жуликов. Они гораздо менее опасны, чем люмпен-бюрократы. Более того, когда среди люмпен-бюрократов встречаются жулики, то это среди них самые светлые личности. И, конечно, самые гуманные — взятки берут.

Это гораздо лучше, чем отличающее люмпен-бюрократа — это особенно проявилось в дни танкового похода против чешской печати — чисто параноидальное убеждение, что выгодное или приятное ему лично — обязательно остро необходимо всему человечеству.

Впрочем, все эти термины и рассуждения пришли мне в голову гораздо позже, для этого нужны были жизненный опыт и зрелость размышлений. А тогда, в девятнадцать лет, мне казалось, что отсутствие у таких людей всяких сомнений, как и их спокойствие и невозмутимость, объясняются тем, что они знают нечто важное, основное, исконно-посконное, что мне абсолютно недоступно.

Я не пишу сейчас обвинительного заключения по их делу. Среди них есть люди хорошие и плохие, добрые и злые, умные и глупые, хотя нивелировка, которой они подвергаются, стирает эти различия, делает их несущественными. Но люди есть люди.

Безусловно, они все вместе — явление сугубо отрицательное, может быть, смертельно опасное для своей страны, своих детей и всех людей на земле. Я не снимаю с них ответственности — каждый человек ответственен за свое поведение.

Я только хочу сказать, что в их общественном поведении повинны не они одни. Это не хрестоматийные злодеи, а обыкновенные люди. Они не виноваты, что революция открыла им слишком прямой доступ к власти и к культуре. Не виноваты они также в том, что неизбежные при таком быстром овладении культурой грубость и примитивизм представлений усугублялись для них еще тем, что и эти представления, и саму культуру они получили из рук Сталина, в сталинистском варианте, то есть, что грамоту они получили вместе с людоедст-

вом, что для них эти понятия связаны. Сталина выдвинули и привели к победе не они.

Противоречий своего мировоззрения и мироощущения они не замечали. Они были искренне преданы революции, открывшей им все дороги, и так же искренне стремились к собственному преуспеянию и благосостоянию, а также к власти. Последняя была для них единственным путем к этим благам. И благосостояние, и положение, и власть они воспринимали как единственную оплату своей бескорыстной преданности и необходимости.

Преданности не чему-нибудь, а именно коммунизму, который был основой их официального мировоззрения, но который был от их мироощущения гораздо дальше, чем христианство от мироощущения самого отпетого мытаря.

В то время господствующей психологией в стране была психология ограбленного крестьянина, которому наглядно показали на его собственном опыте, что ни законов, ни совести нет, но который любой ценой хочет приспособиться к этим новым, сумасшедшим, но совершенно непреклонным обстоятельствам.

Для такого человека все громкие слова — только правила игры, только хитрое средство, применяемое хитрыми людьми для достижения единственно понятной ему и разумной для него цели — благосостояния. Впрочем, конечно, не все достигали этого благосостояния именно таким путем. Большинство просто начинало промышлять всеми дозволенными и недозволенными способами, овладевали тем или иным мастерством, поступали в завхозы и так далее. Но я сейчас говорю не о них, а о тех, кто бросался, так сказать, в интеллектуальную сторону.

И опять-таки из этого числа я исключаю людей, сделавших это по призванию — их тоже было много, но это другая тема: они разделяли участь всей остальной интеллигенции. Люмпен-бюрократами они становились только случайно. Но ведь были еще и люди, из числа которых во все времена и во всех странах — а они есть и должны быть во всех странах и во все времена, без них нельзя — рекрутируются чиновники и канцеляристы.

Что оставалось им делать в середине двадцатых годов, как не изображать из себя — для себя тоже — фанатичных коммунистов? Иного проявления для свойственного им стремления к верноподданничеству и порядку тогда и быть не могло. А дальнейшие метаморфозы могли им быть даже приятны — разумеется, по близорукости. Они тоже растворились в люмпен-бюрократии и их дух присутствует в ней совсем не инертно.

Вряд ли нужно доказывать, что никакого отношения к идеологии и психологии революции («Церкви и тюрьмы сравняем с землей», «Пожар мировой революции», «Новые человеческие отношения») — все эти люди не имели и не могли иметь. Они только приспособливались к этому.

Но, сами того не понимая, сгорая от желания приспособиться к новым веяниям души и тело, они все-таки — чаще всего бессознательно (я уже говорил, что откровенность сознания им не свойственна) — только тем и занимались, что приспособливали их к себе.

И это им удавалось, хотя ничем похожим на дьявольскую хитрость они не отличались. Просто уж слишком фантастичны и нереальны были требования, к которым они приспособливались, просто для того их и брали на службу, чтобы они это делали, просто те, к кому они приспособливались, — старые большевики, — в свою очередь — поскольку революция не делается в белых перчатках, а тактика — основной закон — приспособливались к ним.

Все ведь люди, все человеки — нужна стала и дачка — за заслуги, и возраст подошел, и хорошее бесперебойное снабжение среди голода — чтобы бытовые заботы не отвлекали от революционных, и многие другие привилегии — в основном мелкие и некричащие, на первых порах, и даже странно подчеркивающие их принадлежность к революционному клану.

Но эти привилегии с самого начала были изменой фантастическому Делу и подтачивали это Дело, пока, в конце концов, после полного торжества Сталина, от всего бывшего Дела не осталась одна оболочка названий, из которых был вы-

нут всякий смысл. Тогда они сами стали главной сутью этого дела. Так идеологическое государство окончательно потеряло свою идеологию.

Сегодня, когда довольно модным стало справедливое разочарование в революции, находятся люди, — в основном «национально мыслящие» — которые утверждают, что сталинизм был здоровой реакцией на безответственную фантастику, возвращением к реальности и национальным истокам, к пусть отвратительной, но привычной и «родной» национальной бюрократии.

Оставляя в стороне вопрос о моральности такого отношения к вещам, к гибели миллионов крестьян и просто невинных людей — не одних же старых большевиков мучил и убивал Сталин, я утверждаю, что это не больше, чем самоутешение. Сталинизм действительно был связан с реакцией на революцию, но он не воплощал эту реакцию, а только использовал ее.

Так же, как он использовал и боязнь этой реакции. Сталинизм — это воплощенная власть, власть для власти — это гораздо опаснее, чем пресловутое «искусство для искусства»; это идеологическое государство, лишившееся идеологии. Это значило не только то, что ему нечего было сказать другим, ему нечего сказать и самому себе.

В самом деле — какую бы политику ни вели цари, они всегда могли сказать, что исходят из блага Российской империи, Ленин — что он исходит из интересов мировой революции, базой которой он, по его представлениям, руководил.

Сталин же завел в России такое государство, которое и самому себе не могло сознаться, чем оно является. Оно уже знало, что оно — не база мировой революции — как это ни нравилось романтической молодежи, нельзя же было слишком долго внушать такому большому народу, что его жизнь положена на алтарь проблематичного счастья других народов, которые к тому же отнюдь, во всяком случае, тогда не торопились последовать его примеру. Кроме того, и самим нельзя было из-за этого портить отношения с другими странами и ухудшать свое и без того нетвердое положение.

Но просто так — взять и объявить себя империей — тоже было невозможно. Слишком много разных народов населяло тогда нашу страну, и отпадало основание их связи с Россией. Потом, всякая реставрация была бы на первых порах связана с реставрацией собственности и инициативы, а значит с ограничением собственной власти. А к этому партия, то есть ее руководство всегда относилась крайне болезненно по иррациональным, как я думаю, причинам. Просто никаких других ценностей, кроме безраздельной власти над всеми проявлениями жизни, — она не понимала.

Кроме того, это значило бы остаться не только без идеологии, но и без всякого идеологического прикрытия, то есть стать самим собой, вернуться к реальности и правде, а на такое сталинизм не был способен по определению.

Вместо этого и выработался тот партийный язык, язык духовной прострации, на котором пишут и говорят советские деятели, язык, который спокойно и легко сопрягает несопрягаемое. Этот язык — система сигналов люмпен-бюрократии, при помощи которой она вполне квалифицированно обменивается информацией в своей среде.

Это язык организации лиц, не соответствующих занимаемой должности и не желающих при этом от нее отказаться. Он очень приспособлен к тому, чтобы благодаря ему ни разу не проступила бессмысленность и противоестественность положения говорящих или любая другая реальность.

Единственное, что этих людей выводило из такой прострации, был культ личности Сталина, религиозная вера в то, что уж ему-то все концы и начала известны доподлинно. Он один принимает на себя всю ответственность за их поведение. Выражение «культ личности» — не эвфемизм только тогда, когда речь идет именно об этих людях.

Именно этот язык, «зювлетпартайшпрахе» — их единственное духовное достояние, заставляет их так активничать в подавлении культуры. Без этого языка они не могут. Не только потому, что не сильно грамотны, а еще и потому, что нормальный язык неизбежно рано или поздно проявил бы правду их положения.

Итак, в основном я пишу о тех, кому революция — без должных оснований — открыла дорогу в культуру.

О тех, кто знает только один способ обращения с культурой — руководство ею. О тех, кому трудно было ее освоить, а осваивали они ее положительно, но как «род занятий», а не как «дух», но кому помогли стереотипные фразы, на страже которых эти люди стояли. Например, о дипломатах, изучивших иностранные языки, но плохо и недифференцированно говорящих по-русски. Именно из этого типа людей образовался тип сегодняшнего сталиниста — сермяжного человека с разорванным сознанием.

Тип генерала, поставленного Сталиным в невыносимые условия сорок первого года, но яростно аплодирующего сегодня всякому упоминанию его имени. Не думаю, что этот генерал был трусом на фронте. Но я понял, чем отчасти объясняется непропорциональная разница потерь. Видимо, именно этот непрофессионализм влечет его к Сталину, ибо только в обстановке, созданной Сталиным, он и мог стать генералом. Конечно, это не относится ко всем. И не все они обожают Сталина.

Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те пять хозяйственных укладов — психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин.

Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки — даже не принимавшей революции — было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно — даже сталинизм.

И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс.

Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах на-

родом и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы.

Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны! Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходят из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними; они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться.

Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре — поначалу для многих это было, наверно, даже правдой, другое дело — потом.

Не их вина, что в их глазах представление о культуре навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный «воляпюк» официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей.

Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них — особенно в последние годы — отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо.

И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющей, как минимум, реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, — не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпен-бюрократическая прострация опасна для существования жизни на земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет.

Но тогда, когда и мне, и им было по двадцать, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось — и не только им казалось, что отсутствие личности — личное достоинство,

приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость — тогда они были виноваты гораздо меньше.

У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас — у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами — что греха таить — были интеллигенты липовые?

Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт: у них были пережитки порядочности — городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности — существует.

Но как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а, значит, и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов.

Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением — ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, — тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством.

Но все-таки здесь еще есть свободный выбор.

А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, к которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочнее и разумнее. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это «что-то» лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. И если они

стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют.

Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали сто очков вперед.

Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным — в их представлении — сознательным, культурным представлений о жизни.

Где им было тогда понять, что такие «уходы» губят в них культуру предков, что — несмотря на его темноту и неграмотность — у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и не должном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.

Конечно, трудно представления деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий, исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек.

Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это бы было — и часто бывает! — всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в тысяча восемьсот сорок четвертом году назвал «грубым или казарменным коммунизмом». Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представления частной собственности на все в жизни и ненавидит все — например, как говорилось выше, талант, — чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности.

Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание, и имеет прямое отношение к люмпен-бюрократии, ко-

тору после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпен-империализмом.

Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию.

Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он — Тендряков, Можаяев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учишься, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе, видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе: я — правда, не добровольно, — больше двух лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности.

Но само по себе деревенское происхождение — впрочем, как само по себе дворянское и любое другое автоматически никаких преимуществ никому не дает.

Наоборот, пробиться деревенскому человеку труднее, а оступить — легче.

Схематически это выглядит так: лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, — по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, — не тянет.

Это большой удар. Весь вопрос — хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтобы потом, может быть, даже перегнать их в этом, или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой.

Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности, и как результат этого — комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть...

Ненависть... Нечто подобное — еще задолго до революции — произошло с Нечаевым, когда из села Иванова, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве (может быть, оформилось чуть позже). Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех — и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным — или притворяться таким — выгодно.

Я прошу прощения у читателя за то, что уделил здесь так много внимания проблеме люмпен-интеллигенции и люмпен-бюрократии.

В какой-то степени я тоже люмпен-интеллигент — только, надеюсь, поборовший в себе ростки этого состояния. В конце концов, я тоже происхожу не из князей Волконских или Трубецких и тоже переходил из уклада в уклад, что-то везде усваивая, от чего-то везде отталкиваясь. Следы всего этого читатель, вероятно, может найти в моих стихах — это тоже относится к тому, что снижает уровень обобщенности и художественности многих из них.

Но чем бы это ни оправдывалось, это та мертвая вода эпохи, с которой мне приходилось всю жизнь бороться, чтобы жить. Это то, что всегда противостояло и противостоит поэзии.

В каждой эпохе есть своя мертвая вода. Я думаю, что процент античеловеческого в человечестве пока почти не меняется, менялись только формы его проявления. Он был таким же и в дворянском обществе, и в буржуазном, и в нашем — не знаю, как его назвать.

Но менялись арифметические величины, менялась арифметическая разность между количеством людей, могущих вообще сознательно участвовать в жизни общества, и количеством подлинно духовных людей из их числа. В дворянском обществе эта разность была немалой, в буржуазном — большой, в нашем — громадной. Тем выше роль культуры, тем необходимее обязанность ее защищать.

Всю жизнь я пытался отстаивать себя от этой нивелирующей тенденции, даже когда признавал ее оправданность

и необходимость. Это вечная и естественная обязанность поэта.

Не моя вина, что мое мышление приобретало форму революционную и большевистскую, как в средние века подобные вещи приобретали формы религиозные, а в современном Китае — формы борьбы за более точное следование линии Мао.

Я не виноват, но это мое внутрибольшевистское мышление мешало мне понимать более вечное и важное — сущность духа и бытия, то, без чего искусство превращается в нечто, самому себе противоположное. Именно поэтому я вынужден был уделить здесь такое внимание обстоятельствам, из-за которых это происходило, и сквозь которые я пробивался к поэзии.

Но все-таки и до сих пор мне больше всего хочется писать, и писать стихи одновременно серьезные, легкие и глубокие, ибо, в конце концов, только это — подлинное искусство и подлинная духовная ценность. Но я не верю, что подобной гармонии можно достичь ложью, одним только сознанием, что она нужна. Более того, я верю, что она лежит в основе и самых негармоничных, даже самых тяжелых и затрудненных моих стихов. Верю, что только гармония там и есть, а все остальное — накладки времен.

Накладки, игнорировать которые в творчестве — значит лгать, накладки, следы которых на стихотворении — достоверность его истинности.

Остается терпеть и, если удастся — работать. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной доли смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела. Что я и делаю.

А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное — полнее. Будьте счастливы.

*Москва,
август-сентябрь 1968 года*

Наум Коржавин

«...И верность собственной звезде»

В Сибири

*Дома и деревья слезятся,
И речка в тумане черна,
И просто нельзя догадаться,
Что это апрель и весна.*

*А вдоль берегов огороды,
Дождями набухшая грязь...
По правде, такая погода
Мне по сердцу нынче как раз.*

*Я думал, что век мой уж прожит,
Что беды лишили огня...
И рад я, что ветер тревожит,
Что тучами давит меня.*

*Шаги хоть по грязи, но быстры.
Приятно идти и дышать...
Иду. На свободу. На выстрел.
На всё, что дерзнёт помешать.*

* * *

*Всё это чушь: в себе сомненье,
Безволие жить, — всё ссылка, бред.
Он пеленой оцепененья
Мне заслонил и жизнь, и свет.*

*Но пелена прорвётся с треском
Иль тихо стает, как слеза.
В своей естественности резкой
Ударит свет в мои глаза.*

*И вновь прорвутся на свободу
И верность собственной звезде,
И чувство света и природы
В её бесстрашной полноте.*

* * *

*Он собирался многое свершить,
Когда не знал про мелочное бремя.
А жизнь ушла
на то, чтоб жизнь прожить.
По мелочам.*

Цените, люди, время.

*Мы рвёмся к небу, ползаем в пыли,
Но пусть всегда, везде горит над всеми:
Вы временные жители земли!
И потому — цените, люди, время!*

Утро в лесу

*Девушка расчёсывала косы,
Стоя у брезентовой палатки...
Волосы, рассыпанные плавно,
Смуглость плеч туманом покрывали,
А ступни её земли касались,
И лежала пыль на нежных пальцах.
Лес молчал... И зыбкий отсвет листьев
Зеленел на красном сарафане.
Плечи жгли. И волосы томили,
А её дыхание было ровным...
Так с тех пор я представляю счастье:
Девушка, деревья и палатка.*

* * *

*...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.*

* * *

*Булату Окуджаве**Где вы, где вы?**В какие походы**Вы ушли из моих городов?..**Комиссары двадцатого года,
Я вас помню с тридцатых годов.**Вы вели меня в будни глухие,**Вы искали мне выход в аду,**Хоть вы были совсем не такие,**Как бывали в двадцатом году.**Озарённой, печальнее, шире,**Непригодней для жизни земной...**Больше дела вам не было в мире,**Как в тумане скакать предо мной.**Словно все вы от части отстали,**В партизаны ушли навсегда...**Нет, такими вы не были — стали,**Продираясь ко мне сквозь года.**Вы легко побеждали, но всё же**Оставались всегда ни при чём.**Лишь в Мадриде встречали похожих,**Потому что он был обречён.**О, как вы отрешенно скакали,**Зная правду, но веру храня.**И меня за собой увлекали,**Отрывали от жизни меня...**И летел я, коня погоняя,**Прочь куда-то, в пыли и в дыму.**Почему — я теперь уже знаю,**А куда — до сих пор не пойму.**Я не думал о вашей печали,**Я скорбел, что живу, как во сне,**Но однажды одни вы умчались**И с тех пор не являлись ко мне.**И пошли мои взрослые годы...**В них не меньше любви и огня...**Но скажите, в какие походы**Вы идете теперь — без меня?*

Дети в Освенциме

*Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.*

*И это каждый раз опять:
Кляня, ругаясь без причины...
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.*

*За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычание?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.*

*Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.*

*А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били.*

Так же.

Снова.

И не снимали с них вины.

*Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.*

*Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было.
Мужчины мучили детей.*

Возвращение*Всё это было, было, было...**А. Блок*

*Всё это было, было, было:
И этот пар, и эта степь,
И эти взрывы снежной пыли,
И этот иней на кусте.*

*И эти сани — нет, кибитка,—
И этот волчий след в леске...
И даже... даже эта попытка:
Гадать, чем встретьт вдалеке.*

*И эта радость молодая,
Что всё растёт... Само собой...
И лишь фамилия другая
Тогда была. И век другой.*

*Их было много: всем известных
И не оставивших следа.
И на века безмерно честных,
И честных только лишь тогда.*

*И вспоминавших время это
Потом, в чинах, на склоне лет:
Снег... Кони... Юность... Море света...
И в сердце угрызений нет.*

*Отбывших ссылку за пустое
И за серьёзные дела,
Но полных светлой чистотою,
Которую давила мгла.*

*Кому во мраке преисподней
Свободный ум был светлый дан,
Подчас светлее и свободней,
Чем у людей свободных стран.*

*Их много мчалось этим следом
На волю... (Где есть воля им?)
И я сегодня тоже еду
Путём знакомым и бывлым.*

*Путём знакомым — знаю, знаю —
Всё узнаю, хоть всё не так,
Хоть нынче станция сквозная,
Где раньше выход был на тракт.*

*Хотя дымчат кругом заводы,
Хотя в огнях ночная мгла,
Хоть вихрем света и свободы
Здесь революция прошла.*

*Но после войн и революций
Под всё разъевшей темнотой
Мне так же некуда вернуться
С душой открытой и живой.*

*И мне навек безмерно близки
Равнины, что, как плат, белы,—
Всей мглой истории российской,
Всем блеском искр средь этой мглы.*

* * *

*За последнюю точкой,
За гранью последнего дня
Все хорошие строчки
Останутся жить без меня.*

*В них я к людям приду
Рассказать про любовь и мечты,
Про огонь и беду
И про жизнь средь огня и беды.*

*В книжном шкафе резном
Будет свет мой — живуч и глубок,
Обожжённый огнём
И оставшийся нежным цветком.*

*Пусть для этого света
Я шёл среди моря огня,
Пусть мне важно всё это,
Но это не всё для меня!*

*Мне важны и стихи,
И слава на все голоса,
И твои дорогие,
Несущие радость глаза.*

*Чтобы в бурю и ветер
И в жизнь среди моря огня
Знать, что дом есть на свете,
Где угол, пустой без меня.*

*И что если, судьбою
Подкошенный, сгину во рву,
Всё ж внезапную болью
В глазах у тебя оживу.*

*Не гранитною гранью,
Не строчками в сердце звеня:
Просто вдруг не останется
Живущего рядом — меня.*

Ирина Корнилова-Басова

«...Озарённая мигом свободы»

Свое первое стихотворение я написала в восемь лет: *«Пахнет мёдом розовый миндаль, / Распустилась белым цветом слива / И на море шумная волна / От весенней радости бурлива...»*. По-видимому, не было у меня никакой иной возможности благодарить жизнь, кроме как вот этими простыми словами, которые то рифмовались, то — нет.

А благодарить было за что — война окончилась, мы выжили. И я, ленинградская девочка, увидела эту землю, которая называлась Крым, и море, совсем не черное, как я со страхом ожидала, а синее, голубое, зеленое — всех оттенков.

К писанию стихов меня подталкивала мама. Наверное, она полагала, что дар к слову передается по наследству. Может быть, она была и права, но не от отца, поэта, арестованного за несколько месяцев до моего рождения и убитого несколько месяцев спустя, а с ее голоса я училась гармонии русской речи.

Она не рассказывала нам сказок и не пела песен — она читала стихи. Читала стихи, из-за осторожности не называя запрещенные имена. *«...Ты позабыт в своей беде, / Одни товарищи в могиле, / Другие — неизвестно где»*.

Цвела земля. Крым был неправдоподобно красив. Но мамин голос творил иную реальность. И, особенно, этот переход на другой регистр: сначала наверх, наверх, наверх, почти до крика — *«Петербург! У меня ещё есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса»* — и тут же вниз, на басы: *«Я на лестнице чёрной живу, и в висок / Ударяет мне вырванный с кровью звонок...»*

Моим первым достижением на поприще литературы было сочинение на аттестат зрелости. Чехов, «Вишневый сад» — я толком и не помнила фабулу. Но другие темы были еще более туманные, и я отчаянно бросилась сочинять свою версию из слов, которые были близки и знакомы — сад, вишневый, Чехов, чей домик был неподалеку, на окраине Ялты.

В результате получилось сочинение «на вольную тему», написанное на одном вдохновении. Как ни странно, получила за него пятерку.

Я заканчивала школу. Никакого литературного опыта у меня не было. И даже в голову не приходила профессия, связанная с языком — даже в таком банальном варианте, как учительница русского языка.

Но у меня был опыт, накопленный поколениями предков и записанный в генах. Опыт собственного рождения, детства, взросления, опыт культуры и языка. И еще: опыт общения с природой, с морем — редкий подарок, который выпадает далеко не каждому.

Стихи приходили, когда душа была готова их принять. Эта готовность и была вознаграждением. Испрашивать что-либо сверх казалось излишним. «Печататься» не являлось необходимостью, так же как «не печататься» не было принципом.

И сложилось так, что всякого рода соблазнов советской литературной жизни для меня не существовало. Слова «литературный институт» звучали бессмыслицей.

Но одновременно с пониманием того, что поэзия не может быть профессией, пришло и понимание, что нет поэзии без профессионализма. В это понятие я вкладываю ответственность перед языком, осознание своей миссии.

...Прожив целую жизнь в России, я оказалась за ее пределами. Не погружаясь в эту глубокую тему — эмиграция поэта — могу только сказать, что это своеобразное существование отличается, в первую очередь, отсутствием «языковой среды» с ее активными внешними помехами; но одновременно с этим — повышение фона внутренней «языковой среды».

Это — щедрая компенсация. Эмиграция, бесспорно, усиливает и желание работать с родным языком — так же как и

удовольствие, получаемое от этой работы. Чувства, которые на «родной территории» так остро не осознаются.

На том пути, который предначертан не им, поэта ожидают разного рода открытия. Для меня, например, одно из первых: «теория о второй строчке».

Поясню: первую строчку поэту дарит Небо. Но вторую он должен найти сам, и скорее угадать, чем придумать. Потому что когда Небо дарит тебе первую, то оно знает и вторую. Надо сказать, что это серьезная и важная работа. И если вторая строчка угадана — все в порядке, дальше в виде поощрения пишется все стихотворение. Если же не угадал — стихотворение не удалось, неудача.

Я это проверяла многократно и на собственном опыте, и на опыте других. Другой раз откроешь книжку — какая замечательная первая строчка, а потом — провал. Стрелочник ошибся, и поезд катит на полных парах по чужому пути в совершенно противоположную сторону.

А иногда — бывает такое счастье, что тебе диктуют и вторую строчку вместе с первой, а то и целую строфу, а то и целое стихотворение.

Но это редкое чудо.

Париж, 2010 год

Обращение к веку

*Твои уроки даром не прошли.
Я научилась тихо ненавидеть,
В подушку плакать и сквозь слезы видеть,
Как сквозь туман, изъян твоей души.
Я научилась тихо горевать
И радоваться тоже втихомолку.
Не только зубы — сердце класть на полку.
И даже... даже шёпотом кричать.
И это — самый гневный мой упрек.
И, Боже, тоже шёпотом пропетый.
А голос был и радовался свету,
Но разве есть в воспоминаньях прок?*

* * *

*За все безмятежные годы
Расплатой бессонные ночи.
За ту, молодую свободу —
Бессильем изломанный почерк.
Тяжёлые крылья метафор,
Печали привычное бремя.*

*Душа, как кочующий табор,
Уходит в холодную темень.*

*Ступает босыми ногами,
Распахнута настежь, и вольно
Ей петь в общем шуме и гаме
О том, что и страшно и больно.*

* * *

*Возьму шутя безделицу любую
Из памяти,
Немножко поколдую —
И забреду довольно далеко,
Терзая лист и мучая перо.*

*В том далеке, что больше, дольше, дальше,
День нынешний — уже давно вчерашний.
В том далеке нас не было и нет.
Погасших звёзд в ночи мерцает свет.*

Гололёд

*Депрессия начинается с нелюбви к себе.
Нелюбовь к себе начинается с нелюбви к тебе,
С нелюбви к зиме, к февралю, к Вероне,
К беспощадности дней, к огонькам на перроне.*

*Этот город устал, он легендой измучен,
Досконально чужими ногами изучен,
И кругами, кругами, кругами времён
Окольцован, как древней стеной окружен.*

*Что я здесь? Осторожно скользя по брусчатке,
Приближаясь к отгадке, догадке, загадке —*

*Вдруг как вкопанный идол — ни с места. Глазеть
Остается под ноги. Незыблема твердь.*

*Дух мой болен. Он жаждет тепла и покоя.
И в Италии северной зимней порою
Я тоскую по лету. Верона, прости,
Кто-то в небе мои перепутал пути.*

*От мельканья теней устаёшь понемногу.
Не пора ли опять собираться в дорогу?
Не пора ли... Бог даст, доживём до весны —
Ну, а дальше желанья совсем не ясны.*

Пер-Лашез

*Придёт и смотрит. Будто не страшна,
Но цепенею — и мороз по коже.
Особенно тревожится душа,
По-детски беззащитна. «Боже, Боже», —
Зовёт на помощь.
И терзая взгляд
С деревьев в ожидании смиренном
Срывается прощальный листопад
К ней под ноги, к ней — тёмной и надменной.*

Тюильри

*Может смертью откроется что-то —
А пока что вслепую бредёшь.
И нашаривая верную ноту,
То споткнёшься, а то упадёшь.*

*Вдруг возникнет сиянье из мрака —
Как зарница на том берегу.
Торопись восклицание знака
Ухватить и поставить в строку.*

*И опять вдоль аркады холодной —
Справа меркнет заснеженный сад —
Озарённая мигом свободы,
Не оглядываясь назад.*

Признания

*А ведь я уже умерла.
Нет, не плакали колокола
На моей безбожной земле,
Не клонились травы в полях —
Только мелкий дождь моросил.
И стонали гудки на путях
Из последних оставленных сил.*

* * *

*Твои объятья крепче Гименя —
Попробуй, вырвись.
Небо, пламенея,
Вечернюю раскинуло зарю.*

*Ты отпустил — я всё ещё летаю.
Ты отпустил — я всё ещё парю.*

* * *

*Не нужна мне тяжесть злата —
Мне дорожке медь заката.
Проплывает облако по дорожке вольной.
Упокойся ввечеру молитвою Господней.*

* * *

*Нет, это не ты — это небо уходит в сторону тучею.
Это не я — это тень моя бедная падает кручею.
Это не эхо дальнее грома — рвутся объятья.
Девочка-девочка, зря примеряла ты
Белое платье.*

* * *

*Мне снилось: сбегая тропинкой знакомой,
Легко перепрыгивая через ручьи.
Осталось немного — к родимому дому
Взлети по ступенькам и в дверь постучи.*

*Но медный закат не пускал: на пригорке,
На подступах к дому сухая сосна,
Судьбою смиренная, без оговорки
Раскинулась в небе знаменьем креста.*

* * *

*Лопухи вдоль вокзальных заборов,
Проплывая, волнуют меня —
Как привет от российских просторов,
Как реальность ушедшего дня.*

*Промелькнули окошком вагона
И оставили ноющий след.
И фигурка на глади перрона —
Не моей ли печали привет?*

*Это чья-то душа, на закате,
На пустынном перроне, одна,
В старомодном, изношенном платье
Промелькнула — и как не была.*

*Я, паломник, обласканный Богом,
Что я смею просить для неё?
Может быть за последним порогом
Ей уже Воскресенье дано.*

Тогда в Одессе

Тогда в Одессе было очень холодно. Каждое утро мы проезжали по булыжной мостовой в огромном, гремящем грузовике к аэродрому и, коченея, дожидались больших серых птиц, которые выруливали на стартовое поле; но в оба первых дня, когда мы были уже почти готовы подняться на борт, поступало сообщение о нелетной погоде — то туман над Черным морем был слишком густой, то облака слишком низкими, и мы снова забирались в большущий, шумный грузовик и ехали по булыжной мостовой назад в казарму.

Казарма была огромной, грязной и вшивой. Мы устраивались там на корточках на полу, иные, забравшись на замызганные столы, свешивались к нам вниз, и мы играли в очко или пели, и всегда ждали случая вырваться наружу. Там было много солдат, ожидавших переброски, и никому не разрешалось уходить в город.

В оба первых дня мы пытались смыться, но тщетно — они хватали нас, и в наказание мы вынуждены были таскать большие, горячие бидоны с кофе и разгружать хлеб, в то время, как рядом, в потрясающем меховом полушубке, который предназначался не для чего иного, кроме того, что называется фронтом, стоял интендант и вел счет, дабы ни одна буханка не растворилась в воздухе, и мы чертыхались из-за того, что интендант не распределяет, а подсчитывает, и называли его про себя счетоводом. Небо над Одессой все еще оставалось облачным, сумеречным, и перед черными, грязными стенами казармы взад и вперед, словно маятники, расхаживали караульные.

На третий день мы дождались, когда совсем стемнело, и просто пошли к большим воротам, а когда часовой окликнул нас, бросили ему: «Команда Зельчини», и он пропустил нас. Нас было трое — Курт, Эрих и я, и мы шли очень медленно. Было всего лишь четыре часа, но уже стемнело.

Мы, собственно, ничего другого не хотели, кроме как вырваться из больших, черных, грязных стен, и теперь, когда оказались снаружи, предпочли бы снова быть внутри, — мы служили в армии только восемь недель и потому всего еще боялись.

Но мы знали также, что, окажись мы внутри, нам бы, разумеется, опять захотелось наружу, и это было бы уже невозможно. И всего-то было только четыре часа, и мы не могли спать из-за вшей, пения, но еще и потому, что опасались и одновременно надеялись, что завтра утром может установиться хорошая летная погода, и они перебросят нас в Крым, где нам, возможно, придется умирать.

Мы не хотели умирать, мы не хотели в Крым, но мы не желали также торчать целый день в этой черной, грязной казарме, где воняло суррогатным кофе и где они непрерывно разгружали предназначенный для фронта хлеб, непрерывно, и где счетоводы, именовавшие себя интендантами, в предназначавшихся для фронта полушубках, все время стояли рядом и присматривали, чтобы ни одна буханка не пропала.

Я не знал, чего мы, собственно, хотели. Мы медленно шли в темноте по ухабистому пригородному переулку; между низкими неосвещенными домиками стояла ночь, огражденная гниющим частоколом, порой за ним просматривались пустыри — такие же, как и у нас, где, как полагают люди, вот-вот будет проложена улица, прорыты каналы, и там долго возятся с измерительными штангами, но улицы все нет и нет, и те же люди сваливают там строительный хлам, золу и отходы, и снова растет там трава, плотная лесная трава, пышный бурьян, и щит: «Сбрасывать строительный мусор запрещено» пропадает из виду, заваленный этим самым мусором.

Мы шли очень медленно, потому что было еще рано. В темноте нам попадались солдаты, возвращавшиеся в казар-

му, другие же шли из казармы и обгоняли нас. Мы боялись патруля и были бы непрочь вернуться, но знали, что там мы будем снова в отчаянии, и лучше было оставаться со страхом тут, чем в безысходности сидеть там — среди черных, грязных стен казармы, где они таскают кофе, непрерывно таскают этот кофе и разгружают хлеб для фронта, без остановки — хлеб для фронта, и где счетоводы в потрясающих полушубках ходят вокруг, в то время как вам чертовски холодно.

Иногда справа или слева попадался дом, из которого пробивался слабый желтый свет, и мы слышали голоса — звонкие и чужие, тревожные и пронзительные. И потом появилось в темноте совершенно светлое окно, за которым было очень шумно и откуда были слышны солдатские голоса, распевавшие: «Ах, солнце Мексики...»

Мы толкнули дверь и вошли: внутри было тепло и дымно, и там сидели солдаты — восемь или десять, некоторые были с девицами, и они пили и пели, и один громко засмеялся, когда мы вошли. Мы были юными, да к тому же невелики ростом, самые невысокие в нашей роте, на нас была новенькая униформа, и ее грубое волокно кололо нам руки и ноги, кальсоны и рубашки ужасно зудили кожу, пуловеры были совсем новыми и колючими.

Курт, самый маленький из нас, пошел вперед в поисках стола. Он был учеником на кожевенной фабрике и все время рассказывал нам, откуда к ним поступала кожа, несмотря на то, что это был фабричный секрет, и он даже рассказывал, как они на этом зарабатывали, хотя это была уже строгая коммерческая тайна. Мы сели рядом с ним.

Из-за стойки появилась женщина, полная брюнетка с добродушным лицом и спросила, что мы будем пить; но мы поинтересовались сначала, сколько стоит вино, потому что слышали, что в Одессе все очень дорого.

Она ответила: «Пять марок за графин», и мы заказали три графина вина. Мы проиграли кучу денег в карты и остаток разделили поровну: у каждого было по десять марок. Некоторые из солдат вокруг нас не только пили, но и ели, это были кусочки жареного, еще дымящегося мяса на белом хлебе и

пахнущая чесноком колбаса; и тут мы поняли, что голодны, и когда женщина подала нам вино, спросили, сколько будет стоить еда. Она ответила, что колбаса по пять марок, а мясо с хлебом по восемь. Она добавила, что подала бы свежую свинину, но мы заказали три порции колбасок. Некоторые из солдат целовали своих спутниц и открыто обнимали их, и мы не знали, в какую сторону смотреть.

Колбаски были горячими и сочились жиром, а вино очень кислым. Покончив с едой, мы не знали, что делать дальше. Рассказывать было нечего, потому что уже четырнадцать дней провалялись мы друг подле друга в вагоне и успели рассказать все. Курт прежде работал на кожевенной фабрике, Эрих пришел в армию с крестьянского двора, а я — я учился до того в школе; и нас все еще не покидал страх, хотя уже и не было так холодно...

Солдаты, целовавшие девиц, стали подтягивать ремни и ушли вместе с ними; у этих трех девушек были круглые милые лица, они хихикали и щебетали, и вот они ушли с шестью солдатами; полагаю, их было шесть, по крайней мере пять. Оставались еще пьяные, которые пели: «Ах, солнце Мексики...»

Один, стоявший у стойки, обер-ефрейтор, высокий и светловолосый, повернулся и, глядя на нас, снова расхохотался; думаю, потому, что мы сидели за нашим столом очень тихо и послушно, руки на коленях — как на занятиях в казарме. Тогда он сказал что-то хозяйке, и та принесла нам светлый шнапс в довольно больших бокалах.

«Мы теперь должны выпить за него», — сказал Эрих, толкнув нас коленкой, и я, я стал кричать: «Господин обер-ефрейтор!», пока тот не заметил, что я имею в виду его, и тогда Эрих снова толкнул нас коленкой, и мы встали и дружно выкрикнули: «Ваше здравие, господин обер-ефрейтор!» Солдаты вокруг начали громко смеяться, но обер-ефрейтор поднял свой бокал и крикнул нам: «За вас, господа пехотинцы...»

Шнапс был резким и горьким, но согревал нас, и мы были не прочь выпить еще.

Светловолосый обер-ефрейтор подозвал Курта, тот подошел и, обменявшись с ним парой слов, позвал нас. Обер-

ефрейтор сказал, что нужно быть не в своем уме, чтобы сидеть тут без денег, в то время когда тут можно что-нибудь по дешевке продать. Он спросил, откуда мы пришли и куда должны вернуться, и мы рассказали, что должны ждать в казарме, когда сможем улететь в Крым. Лицо его стало серьезным, но он не промолвил ни слова. Тогда я спросил его, что можно было бы тут сбыть, и он ответил: все. Продать тут можно было все, что хочешь — шинели и фуражки, исподнее, часы, авторучки.

Мы не собирались продавать шинели — мы еще всего боялись и знали, что это запрещено, к тому же нам было очень холодно тогда в Одессе. Мы выгребли все из карманов: Курт нашел авторучку, у меня были часы, у Эриха новый кожаный кошелек, который он выиграл по лотерее в казарме. Обер-ефрейтор взял наши вещи и спросил хозяйку, сколько бы она за это дала, и та внимательно все осмотрела и сказала, что ничего хорошего не находит, но что могла бы дать двести пятьдесят марок, сто восемьдесят из них за часы.

Обер-ефрейтор сказал нам, что это мало — двести пятьдесят, но больше она несомненно не даст, и что если нам на следующий день, возможно, предстоит лететь в Крым, то уже все равно, и лучше взять, что дают.

Двое солдат, из тех, что пели: «Ах, солнце Мексики...», поднялись от своих столов и стали похлопывать обер-ефрейтора по плечу, тот кивнул нам и вышел с ними.

Хозяйка отдала все деньги мне, и я заказал для каждого из нас по две порции свинины с хлебом и по большому шнапсу, потом мы снова съели по две порции свинины и еще раз выпили шнапс. Мясо было свежим и сочным, горячим и почти сладким, и хлеб был пропитан жиром, и мы выпили еще по одному шнапсу.

Потом хозяйка сказала, что мясо кончилось, осталась только колбаса, и мы съели каждый по колбаске, к которой заказали себе пиво — густое, темное пиво, и выпили еще по одному шнапсу, после чего велели принести пирог, плоский, сухой пирог с молотыми орехами; потом мы выпили еще шнапс и не были пьяны; было тепло и благостно, и мы больше не дума-

ли о колючих подштанниках и пуловерах; и приходили новые солдаты, и мы пели все вместе: «Ах, солнце Мексики...»

В шесть часов наши деньги кончились, но мы все еще не были пьяны; продать было больше нечего, и мы нам не оставалась иного, как пойти в казарму. В темной, ухабистой улице уже нигде не горел свет, и когда мы проходили через вахту, часовой сказал, чтобы мы зашли в караулку. В ней было жарко, сухо, грязно и пахло табаком, и унтер-офицер наорал на нас и сказал, что нас еще ждут неприятности.

Но в ту ночь мы очень хорошо спали, а утром снова ехали в большом громыхающем грузовике по булыжной мостовой к аэродрому; в Одессе было холодно, воздух был удивительно прозрачен, и на этот раз мы забрались в самолеты, а когда они стали подниматься, мы вдруг поняли, что никогда больше сюда не вернемся, никогда больше...

Перевод Владимира Шубина

Людмила Агеева

Дети счастливого Дома

Памяти Наташи Толстой

Был такой счастливый Дом. Почему с большой буквы? Потому что так случилось, потому что он не похож был на другие дома. Нигде раньше не встречалась мне такая семья, разве что в старинных романах. И квартира была не такая, как у всех, — очень большая, двухэтажная квартира, с двумя балконами, с деревянной скрипучей лестницей на второй этаж. А там огромное пространство: налево — родительская спальня, длинный шкаф орехового дерева, овальное качающееся зеркало, оно разбилось, просто лопнуло и осыпалось вниз, самопроизвольно, в день, когда умерла бабушка, Наталия Васильевна; направо — отцовский кабинет с огромным столом перед балконными окнами.

Если пройти вдоль стола, за шкафами и темной занавеской начиналась фото-комната. О, сколько мы там фотографий, черно-белых, прекрасных, напечатали в краснофонарной темноте, где они? мы на них молодые, в уродливых одеждах, с гладкими лицами, с глупыми улыбками, нелепые, куда подевались?..

В центре стоял рояль, за роялем что-то музыкальное, воспроизводящее. Вдоль безоконных стен тянулись книжные полки... и книги, книги, книги, чудесные, старинные, с волшебными картинками под папиросными матовыми листочками, или совсем не старинные, а запретные, спрятанные во второй ряд.

Внизу была столовая, какие-то детские комнаты, под лестницей кладовка, настоящая ванная — горячая вода, неверо-

ятно! мы-то ходили в баню; маленькая кухня с окном и крошечная комнатка для прислуги, кажется, без окна. Нынешние толстосумы только посмеются над нашими восторгами. Мы все жили тогда в коммунальных квартирах.

Ах, не в этом дело... Совершенно не в этом. Просто это был чудесный Дом. В нем жили другие люди, они говорили на другом языке, они читали другие книжки, они с рождения уже знали что-то такое, ну... такое, такое, что нам только предстояло узнать; между прочим, как раз они нас и научили. Они умели смеяться и находить смешное в самых печальных обстоятельствах, плакали ли они? возможно, плакали, но... невидимо — мы, во всяком случае, не видели, никогда не жаловались и не ныли, и не боялись никакого труда, возмущались они? О, да! Разумеется, возмущались идиотизмом и несправедливостями нашего мира, но зато ценили свой Дом.

Они, безусловно, были все умные, красивые, талантливые, с удивительным чувством юмора, успешные, все-все, такой генетический протуберанец случился в одной, отдельно взятой семье, но даже и это не главное. Они показывали, как надо жить. Просто, весело, с достоинством — осмысленно.

Мы наблюдали.

Нам казалось, что над этим Домом никогда не останавливались темные тучи. Иногда проплывет незначительное облачко, страшным голосом закричит отец на детей — как не закричать, семеро ведь, два мальчика, пять девочек: «кто подходил к моему столу? кто брал мою резинку?» — «да вот же она, милый папочка, никому не нужна твоя дурацкая резинка», — ответят вежливые дети. И облачко рассеется.

Или прислушается отец, раскуривая в столовой душистую трубку, к странным классическим звукам со второго этажа, сделает недоверчивое лицо: «неужели, неужели кто-то из моих детей без всякого принуждения поставил Генделя... неужели я дожил до этого момента, нет, не верю, просто, видимо, пришел к ним в гости какой-нибудь образованный, тонкий, музыкальный мальчик... или девочка». Не сможет удержаться — любопытный, поднимется наверх, тяжело, грузно, скрипя ступенями, и увидит: сидит Наташа, слушает музыку. Одна.

«Ах, это Пума...», — прошепчет растроганно и, скрипя пуце прежнего, вернется по деревянной лестнице вниз, в столовую, и простит остальных детей за равнодушие к Генделю, за бросание вещей где попало, за отлынивания от гуляний с собакой, за... ну мало ли за что. Почему Никита Алексеич называл Наташу Пумой, теперь уже и не вспомнить — за красоту, за пушистость, за вкрадчивую нежную грацию? — кто знает? у кого спросить?

Картинки мелькают, хочется их удержать. Отчего-то, если закрыть глаза, картинки приближаются, можно рассмотреть. В тот день (Наташе — пятнадцать) по секрету мне прошептали в ухо, что ей только что сделал предложение, да, «попросил руки», один взрослый человек, поэт, ученик дедушки Лозинского, до такой степени взрослый, что... ну, не то чтобы лысый, но с признаками, да, и поцеловал руку, руку? всерьез, что ли? не может быть! да, клянусь! склонился и поцеловал, и она увидела... признаки.

Мы уже смотрим с некоторым интересом и любопытством на эту девочку, она ведь школьница, восьмой класс, а мы в университете и никаких таких предложений, хотя романы, страдания и ревности, но — предложений в явном виде — нет как нет, не говоря о серьезном целовании рук, а ее уже полюбили неотступно, на всю жизнь.

Очень скоро она нас догоняет. Поступает в университет, но факультет филологический. Какие причуды, подумать только, ну зачем шведский язык, потому что английский — банально, английский и так все знают, это ваша наука вся на английском, а в почете скоро будут экзотические наречия, вот увидите.

Тихое упрямство, вкрадчивая грация, настойчивость. Впереди — рыцарское звание от благодарных шведов, Королевский орден Северной Звезды «в знак признания бесценного вклада в развитие контактов между Россией и Швецией».

Какие есть еще синонимы? целеустремленная? Но как-то так — спокойно, без надрыва, незаметно для окружающих, без звериной серьезности, с веселой самоиронией, легко, как

бы играя. Да уж ... похоже... так пума на мягких нежных лапах преследует цель. Веселая стала, спокойная, остроумная, а взрослый поэт, расстроенный, уехал вдаль и даже бестолково женился, но не отступился, переждал и вернулся. Про это — после, если напомните.

Целая жизнь прошла. Остановишься, глянешь назад — длинная, длинная, чего только не напроисходило, детей народилось видимо-невидимо, даже и внуки норовят кого-нибудь народить.

Неожиданно память без всякого повода выдаст видение: незабываемое юное лицо, белая мохеровая шапочка, первая дубленка, вошла с мороза в столовую, молодая, счастливая — показаться; покрутилась, исчезла, разделась, присела к столу, расстелила салфетку, благовоспитанная.

Марфа трясет головой неодобрительно, подает ужин. А вот и телефонный звонок, «Наташа, тебя...», вскакивает, несется, долго и тихо шепчет в трубку, односложное; возвращается, скрывая восторг и сияние глаз, да, «берет себя в руки и садится за стол». «Кто?» — спрашивают молча сидящие за столом, заинтригованные, «декан звонил, благодарил за успехи»; вспомнишь смех, словечки, голос. И время схлопнется как дурная игрушка, называется — черная дыра, и жизнь покажется короткой, короче ... Короче — оскорбительно короткой.

Когда человек умирает, все начинают рассматривать его фотографии — они действительно изменяются, перечитывать письма, рассказы, перебирать пустяковые подарки; всякие мелочи наполняются грустным и важным значением.

И все-таки самое главное — слова. На бумаге ли, на глиняных табличках, на стене горящими буквами, растаявшие в воздухе, прибежавшие по интернету, живые и мертвые, вспыхнувшие в памяти и погибшие, точные и так себе.

Она собственно все про себя написала. Коротко и точно. Всегда писала коротко и, вот именно что — точно. Точнее некуда. Глиссадики, как сказал Андрей Арьев, с самого начала были расставлены аккуратно.

«Книги не столь конечны, как мы сами...» Жаль только, что так мало написала, но ведь как хорошо. Перечитываешь ее письма и рассказы, слышишь ее голос, словно продолжается разговор, ответ не сразу доходит, надо подождать.

Рассказы начала писать по-шведски, возможно, забавы ради, чтобы проверить себя и свой шведский язык, а шведы схватили, утащили к себе и напечатали. Только потом сама себя перевела на русский. Да, для себя и, как скромно призналась, *«для небольшой группы людей, которые думают, как я...»* Запредельная какая-то скромность. Но цену себе знала, не могла не знать при абсолютном-то слухе на интонацию и слово.

В детстве хотела быть как все. Да, это она про себя... Один из первых рассказов. Имя даже свое дала. Девочка из счастливого Дома, по имени Наташа, хотела быть как все? (совершенно ненормальная). Жить в узких комнатах, в коммунальных квартирах, где нет ни ванн, ни горячей воды, ни любезного тихой душе уединения. А все потому, что рано догадалась, что виновата. *«Виновата, что на дом приходит учительница музыки и учительница английского. Что бабушка на такси возит в ТЮЗ, а после спектакля старенький режиссер поит их чаем в своем кабинете, что гости родителей не похожи на людей в очереди...»*

Ремарка в сторону — в этом Доме, на мой взгляд, вообще бродил микроб народничества. Сильнее всего была им, видимо, поражена бабушка Татьяна Борисовна, народ, так сказать, обожеествлявшая («...стонет он под овином, под стогом, под телегой, ночуя в степи»), и по Кировскому проспекту — или он тогда был еще Каменоостровский? — ходила босиком в знак протеста против буржуазных излишеств.

Наталья Михайловна Лозинская на своей золотой свадьбе легко и просто чувствовала себя в *ситцевой* кофточке, да, в мелкий цветочек, и была прекрасна. Буржуазность не почиталась, нет, на одежду внимание не обращалось. А на манеры — в старинном смысле слова — обращалось.

К «простым» людям дети должны были относиться с особой почтительностью. Помню, как Катя призналась в непри-

ятной оплошности — она пришла за какими-то конспектами к нашей однокурснице, дверь открыла невзрачная женщина в чем-то затрапезном, и Катя, с порога, заговорила чрезмерно любезным голосом. «Представляешь, ужас! это была ее мама, а я решила, что домработница».

К слову, папа однокурсницы был профессор, вполне могла быть у них домработница — тогдашний профессор — это не нынешний.

Мы наблюдали, но уже и участвовали, нас затягивало волшебное, магнитное поле этого Дома, где к детям относились с уважением и интересом, где учили французскому, английскому и музыке. Они пытались сопротивляться? а как вы думаете... еще как пытались, но почему-то обучились и языкам, и литературе, и истории, вплоть до физики, просто так, между прочим, а часто за разговорами, в столовой, а потом и к детям своим применяли все те же пытки. Где вечерами играли в буриме и шарады, писали стихи и рассказы, а летом на даче ставили грандиозные спектакли.

Буквально на каждом слове мне хочется остановиться и рассказать, потому что ничего этого уже нет, исчезла и растаяла в воздухе веселая и талантливая жизнь, все эти режиссерские находки, выдумки, костюмы из подручных занавесок, парики из какой-то пакли, «мушки» на щеке фаворитки Людовика — сцена придворного бала всего лишь для слога «па».

Мое имя вместе с фамилией Катя задумала для шарады разделить по слогам — **мил** (представляется легко в виде сценки на тему «не по хорошему мил...» и т. д.); **каа** (в виде длинного, извилистого животного), **ге** (сцена известной картины художника Ге), ну а **ева** (совсем простенько, легко изобразить полуобнаженную девушку, подсовывающую бой-френду подозрительное яблоко), в качестве «целого» предполагалось вывести на сцену меня, живьем, но я неожиданно умчалась на Соловки, и замысел сорвался.

А тексты какие придумывались, о! дико смешные тексты маленьких пьес. А игра, замечательная игра — подсказывают мне. Мало им литературных дарований — так у них еще и актерские способности. Июльские шарады в Кавголово, ко дню

рождения Ольги, превращались в оглушительный праздник для всей округи, для всех братьев и сестер, для друзей и знакомых, для всех дачников, близких и дальних, для случайных прохожих и нетрезвых поселковых бродяг, виснувших на заборах.

Ничего этого уже нет, и нет любимых людей, а только что были...

Наташу тоже не миновал этот вышедший из моды аристократический микроб и главное его действие: стойкое непонимание, как можно унижать и оскорблять другого человека. А иначе вряд ли бы она услышала из распахнутых летних окон хореографического училища злой голос педагога про упомянутые глиссадики и про какое-то «ферме»: *«Тамара, у тебя ферме, как у коровы, Лена, напряги остатки мозгов... надо препарасьон на левую ногу, а ты опять втягиваешь бедро». Вот, оказывается, как оно на самом деле, подумала я. Тут унижают... Если стану учительницей, никогда не буду унижать и мучить учеников.*

Почти в каждом интервью Наташу спрашивали, правда ли, что она не любит мужчин и за что. Можно не любить мужчин, почему нет, все-таки это не родина, но просто интересно, за какие такие черты.

Спрашивали, как правило, интервьюеры. А вот женщины такие вопросы не задавали. Интервьюерки, видимо, считали этот вопрос излишне риторическим. И так — понятно. Чего тут спрашивать.

Наташа всегда мягко уклонялась, отсылала мужчин в другую цивилизацию. В раннем рассказе «Школа» честно признавалась: *про мальчиков я думала так: ну ладно. Пусть живут, но в специально отведенных местах.* А мне как-то со смехом пересказала разговор с одной милой шведской дамой, которая тоже считала мужчин созданиями эгоистичными, лишними и абсолютно никчемными.

Они обсудили разнообразные политические проблемы, всякие глупости современных правителей, нашли много об-

щего в своих взглядах на жизнь, у каждой — как выяснилось — двое сыновей — и возраст обожаемых сыновей, а также их повадки, удивительным образом совпадали.

Вдруг шведка остановила свой рассказ и воскликнула с испугом: «Послушайте, ведь мы воспитываем будущих мужчин». Разумеется, шведская дама — вместе с отечественными феминистками — впадала в некоторый грех обобщения, но есть у меня догадка: Наташа не слишком привечала мужчин за то, что они часто унижали, мучили и обманывали женщин. Чаше, чем наоборот, согласитесь, ведь это так...

Причем сама была окружена пожизненной любовью мужа, Игнатия Ивановского, того самого поэта и переводчика, ученика дедушки Лозинского. Прислал как-то в одном из Наташиных писем приписку — стишок, ей посвященный: *«Ты мой ангел, ты богиня, ты заветный талисман, и поскольку ты графиня, я твой верный графоман»*. Так что, ничего личного, просто экзистенциальный опыт.

Прошли годы, и Наташа призналась, что уже давно не хочет быть, как все, и нет желания погибнуть, спасая Сталина, хотя жаль по-прежнему неизвестных (мне) Иду Ильинишну и БERTУ Михайловну, и милую няню — ее я уже помню, маленькую, чуть горбатенюкую, ее все любили, — мало они видели счастья.

Но зато приятно, что *«больше не зашевелится Сталин под майским ветром на кинотеатре Арс»*. Забегая вперед — в две тысячи седьмом году получаю от нее письмо: *«В Питере на Марше несогласных свинтили Н. Белых, Гозмана и Б. Немцова. М-да, что творится-то. Опять все сначала. А Никита мне на это: «За границу выпускают? Выпускают. Тридцать сортов сыра в „Континенте“ видела? Видела. Хули ты недовольна?» И так думает большинство. Знаешь, чего мне не хватает? Общенья с единомышленниками. Одних уж нет, а те — далеке. Ты вот далеке»*.

В две тысячи десятом Наташа уже не удивлялась, что в мае по Невскому едет троллейбус со Сталиным на боку, овеваемый прежним ветром, не спрашивала: что творится-то? Ну бросили в Сталина краской, так он дальше поехал, там отмоют.

Пошлость, ложь, показуха и глупость были этому Дому ненавистны. Дети учились слышать слово с раннего детства. Помню, бегали, взмахивая руками как крыльями, на разные лады повторяя фразу одного начинающего вхожего в дом советского писателя: «... всю ночь в пойме кричали гуси...», умирали от смеха. Не самая криминальная фраза в советской литературе, не самая нелепая и смешная, а все-таки натужное что-то в ней было.

Скорее всего, смех вызывала личность сочинителя, с претензиями и тщеславием, с потугами войти в Союз писателей, в обласканное властями сообщество — ну как же — Дома творчества, Коктебель и Комарово, поездки, квартиры, лавка писателей с дефицитными книжками, всяческие льготы, а талант в высшей степени скромный.

Справедливости ради следует сказать, что большому таланту прощались и нескромность, и тщеславие, и суэта по добыче мирских блаженств, и прочие грехи. О, нет, ни тени осуждения, я и сама такая, в смысле — прощающая за талант.

Катя начала читать собственного деда только после того, как случайно наткнулась на «Гадюку», а Наташа, прочитав «Ибикуса», поняла, как бы ей самой хотелось писать. Но немотивированное тщеславие... нет, не прощали. Много лет спустя, в одном из писем, Наташа изображает писательскую тусовку: *«... Потом все кроме меня пошли на банкет. Но там все уже было съедено более опытными, которые, минуя юбилейные речи, отправились прямо к столу. Осталось лишь фальсифицированное боржомом и бутерброды с выпукловогнутым сыром. На юбилее ко мне подошел М. и первое, что сказал: «У меня выходит собрание сочинений». При этом светился неземным светом, как Господь на Фаворе. Потом над нами нагнулся кто-то пыльный и сказал: «Моя брошюра вышла на Мальте». О пигмеи!»*

Сама ни к какой тусовке не принадлежала, отстранялась, печаталась только в «Звезде», потом в «Русской жизни», в наших «Зарубежных записках». Часто это были уже повторы — началась болезнь, Наташа писала мало; а мне хотелось порадовать зарубежных русских читателей хорошей прозой,

а еще — издатели пообещали платить гонорары авторам, живущим в России. Печаталась, потому что — просили.

Современных литераторов она судила жестко, иногда убийственно, но не язвительно и только в частных разговорах и письмах. Про незначительный, сомнительного качества роман, получивший известную премию, сказала как-то: «Подолом Букеру!» Исчерпывающе. Ничего не добавила. Вот так — скупое. Писала мне: *«Ничего не читаю, все не нравится. А что читаешь ты?»* Сошлись на любви к воспоминаниям, хорошо написанному документальному, социологическому, где нет фальши и вранья. Заобожали вместе социолога Илью Утехина и врача Максима Осипова. В последние месяцы она читала мемуары про ГУЛАг и блокаду, мемуары княгини Мещерской, *«мемуары матери и дочери Улановских, сидели обе, с ними сидела бабушка по обвинению: мысленно клеветала на органы...»*

Отзывы о своих рассказах встречала с привычной иронией: *«читаю присланного тобой номер, пятьсот страниц накатал, сучий потрох. Наконец, дождалась: обосрал и меня, причем два раза. А то я, было, обиделась. Но умен, собака! Как мы жили без интернета, скажи...»* Несколько раз признается в письмах, если бы не интернет, то жить было бы незачем. Да именно так, такими словами. Внешний мир постепенно сужал свои границы и не только из-за болезни, а потому что становился все более чужим и неприятным, наполнялся пустыми, случайными и бессмысленными персонажами. Интернет давал иллюзию простора и выбора.

Как и многие наши ровесники переживала с удивлением к самой себе ностальгический феномен: *«душиная, лживая советская жизнь — и масса чудесных, неповторимых, дорогих нам людей. А ныне — погляди вокруг — вроде и свобода, и поезжай, куда глаза глядят, и купи то не знаю что, а вокруг пустыня, и не с кем поговорить, и волны бескультурья и невежества плещутся вокруг».*

Про смертельную болезнь Наташи я узнала от Кати, она позвонила мне в Мюнхен, сказала: «...я бросила курить». Это был такой обет, чтобы Наташа осталась жить.

А через два года умирает Катя, неожиданно, непредставимо, очень быстро, в жаркой Москве, две тысячи пятый год, август. Наташа остается жить, но переписка наша замирает. Я понимаю, почему. Невозможно было перекидываться словами. Они смысл потеряли. Сильное горе требует одиночества. Должна накопиться некоторая дистанция, чтобы снова можно было говорить словами. И я до сих пор ничего не написала о Кате, а Наташа лишь накануне Нового года, две тысячи восьмого года, пишет: «Все скучаю о Кате. И чем дальше, тем сильнее. Никто ее не заменит».

В январском номере «Звезды» две тысячи шестого года появился, как всегда, недлинный Наташин текст — «Письма из Москвы», но это не обычный рассказ, это отрывки из Катиных писем — ярких, остроумных, ироничных. Письма — свидетельства постсоветских фантастических лет перемежаются горькими и короткими Наташиными комментариями. Очень сдержанными — не было еще дистанции, снимающей боль. И не будет никогда.

Уже в болезнях и страданиях не могла она отвести взгляд от фирменного абсурда нашей жизни, находила силы смеяться над нелепостями человеческих телодвижений. Описывает мне в письме прогулку: *Зашла в чащу. На дубу висит объявление: «Секундочку! Продаются французские духи ведущих фирм со склада за тридцать процентов стоимости.» В глухом лесу. Представляешь...*

Редактирует путеводители на шведском языке: *Ужас, бред и гомерический хохот. Переверано все, что можно. Пример: Троцкий до революции был директором Смольного, где воспитывал казаков для революции. И все в таком роде.*

Иногда пришлет и вовсе для меня загадочное: *в парке Победы, на месте эстрады Сталинской эпохи, открыт «Центр храпа»* (что это? теряюсь в догадках; такой сервис появился в родном городе, что ли? мол, приходите к нам и храпите на здоровье?)

В конце ноября, за месяц до Нового две тысячи десятого года, я пришла к Наташе в гости. За три месяца до ее по-

следней больницы. Вкусно обедали, смеялись, проговорили, кажется, обо всем, долго-долго, несколько часов, а до самого главного не дошли. До него никогда не доходят.

«Не хочется писать... скоро будет звонить Арьев, надо писать рассказ к первому номеру». А сил уже почти не осталось. Но все-таки написала, рассказ «В Тунисе»¹. И там, в Тунисе, оказывается, абсурд, грязь, обман — не хуже российских.

Вышла на минуту из комнаты, вернулась с портретом Наталии Михайловны, поставила передо мной. *«Уход из жизни уже не пугает, там много дорогих людей...»* Я сфотографировала ее. Печальный взгляд, прекрасное лицо. Может быть, последняя фотография, одна из последних.

Дом никуда не исчез, он остался навсегда и весь будет воссоздан там, в небесах, на прекрасной планете, добрым и разумным Океаном, весь до последнего гвоздика и вилки, до последней скрипучей ступеньки, полочки, кресла, старинного дивана с изогнутой спинкой, до последней картины на стене и разбитой чашки в синих разводах, до последней волшебной книжки вместе со всеми обитателями, гостями, разговорами, шутками, вместе с няней, ее племянницами, нелепой учительницей французского, пусть и она будет, и пусть встречает гостей бестолковая, почти забытая, собака Ясса, умеющая ловить мух, а рядом пусть протекает река Карповка, можно даже и с деревянным мостиком, а сразу за домом раскинется озеро Хеппо-Ярви с лодками и визгами детей, и под яблонями, в июле, беспечные мы будем ставить шарады.

Кто жил в этом Доме, кто бывал в этом Доме, тот не захочет ни в какой скучный «прожиточный минимализм» новых художников на углу Тверской, ни в какую избыточную роскошь спесивых богатеев на Рублевке, и подняться на борт стопятидесятиметровой яхты с ее унылым владельцем, даже из любопытства, тоже не захочет. Потому что там нет этих неповторимых, незабываемых людей, и отдаленно похожих на них — нет, и долго еще не будет, не знаю, почему; не будет и все...

¹ Журнал «Звезда», № 1, 2010 год.

Ольга Постникова

«...В незнание мы бессмертны»

*Родина, страх мой, ужасней, родней
Трудно сыскать на земле.
Всё, что ни думаю, тянется к ней,
Вечной твоей кабале.*

*Ты — в этой хлипкой тревоге хвоцей,
В бросовом красном листе,
В этих миллионах стандартных плащей,
Праздной чужда красоте.*

*О, награди, но не гордью столиц,
Нет, не блистаньем впотъмах, —
Этой беззлобностью северных лиц
Млекопитательниц, тех молодц,
Что исстарели в хлевах,
Тех обитательниц нищих больниц
В бязи казённых рубях.*

Вера

«Любить и веровать сполна...»

Н. Панченко

О, скажи, чтобы я не замерзла средь этих широт:

«Я взяла навсегда, я уже никогда не покину».

О, спаси же видением, образом птичьего клина:

Этот общий полёт,

где сквозь ветер каждый поёт.

Ты меня позвала, ты в глубинные страхи шептала,

И под полог плаща собрав, как Дева Святая,

Малых всех,

с головами, круглыми от беззащитности,

Дай мне силы дальше жить и нести.

Безъязыких, застывших —

ты всех обвеваешь крылами, —

Материнский порыв, согревающий ласковый жест.

Дай сквозь холод услышать

звучанье небесных торжеств,

Удержи свой покров над нашими головами!

Курганы Керчи

*Всю жизнь разрубила мне Мойра-судьба
Виной, что тяжеле меча иноверца.
И снова воздвиглись холмы Юз-Оба,
Как воспоминанья смятённого сердца.*

*В них столько бесценной золотой тесноты,
Неотданной радости, плачей разлуки.
Зачем я везу в этот край теплоты
Порочные губы, неверные руки...*

*Я тысячелетьями не замолю
Проступок безумный, безвольный, нелепый.
Но знай же, я намертво, вечно люблю
И холодно, как митридатские склепы.*

*Там на штукатурке синеют в тиши
Венки погребальные в нежном вощенье.
И снова уйдут в катакомбы души
Слова покаянья, мольбы о прощенье.*

*Но сколько тут знаков счастливых времён,
Цветов, чьи названия мы потеряли,
Бесхитростных ликов, античных имён,
Стихов, что с тобой вперевод повторяли...*

Ferrum

*Гемоглобин — красный пигмент
крови — содержит железо.*

*Тепло твоей крови и сердца пульс натужный,
Душа, что от иглы невидимой болит,
Навек в прямом родстве со ржавчиной кольчужной,
Предкуликовской яростью молитв.*

*И отчая земля — обыкновенной глиной,
Высоковольтных ферм окалиной стальной
Свела тебя, связав аортой двуединой
С пригорком каждым, с каждой сосной.*

*Круговорот веществ, блуждание молекул
Вместило сласть садов и поля пережной,
И этот цвет родной, что Феофану Греку
Дан пережжённой охрой земляной.*

*Там Евы плащ, как флаг, что, взвихрённый смятеньем,
Не нашими ль червлён проклятьем и виной!
И ты ожелезнён кандальным хмурым пеньем.
Алчба штыков, чугунных домен вой...*

*Как будто в рельсу бьют в ночах твоих сиротских...
Прапамятью войны запричитал металл.
А бурый известняк соборов новгородских
Завет отмщённых ересей впитал.*

*И превозмочь нельзя, ты обречён гордиться
Падучей пеной ГЭС и бедностью рябин.
С российской судьбой железное единство
Навеки дал тебе гемоглобин.*

* * *

*Благодари, что мы не знаем дня,
В какой умрём, — в незнание мы бессмертны.
А ты опять уходишь на две смены,
Не догадавшись и обнять меня.*

*И тех лиловых, тех любимых астр
Я, может быть, дождусь не в этом доме,
А в крематорской мраморной истоме,
Где встану строчкой в золотой кадастр.*

*Я столько вех наметила судьбе,
Я сто имен придумала тебе,
И мысленно я столько платьев сшила,
Как будто сотни лет прожить решила.*

*Но лепестки твоих уснувших век
Не дрогнут от моих похвал несметных,
И я молчу, как будто мы бессмертны,
А мы уже прощаемся навек.*

Борис Евсеев

Русское каприччо

Леониду Бежину

У отца был знакомый часовщик. Когда мне было шесть или семь лет, мы часто к нему ходили. У часовщика не было ног. Но сидел он на углу Суворовской и Торговой улиц, в чистой мастерской с огромными окнами — ровно и гордо.

В окнах мастерской были выставлены часы. Они были разной величины и формы. Иногда часы звенели или били. И тогда часовщик вскидывал голову, встряхивал светленьким чубом и мечтательно улыбался. Постояв у окон, мы заходили внутрь и отец несколько минут о чем-то с часовщиком толковал.

Мой отец любил ходить. Он ходил пешком везде и всюду. И почти не ездил в автобусах и на машине. А часовщик, как я уже сказал, был без ног. И я никак не мог взять в толк что стремительно ходящего отца с приросшим к четырехколесной доске человеком может связывать.

Еще удивлял взгляд часовщика. Он не смотрел на отца, не смотрел на тех, кто топтался в очереди. Он смотрел поверх них, смотрел далеко, высоко! Смотрел так, словно хотел километрах в семидесяти или даже восьмидесяти разглядеть только что возведенную плотину Каховской ГЭС.

Плотина эта, которую я никогда не видел, в моем представлении была схожа с пастью зубастого кита, проглотившего праведника Иону. Кит с праведником во чреве застряли в моем мозгу благодаря бабушкиным рассказам. Ну и, конечно, такой библейский отсвет в зрачках часовщика придавал его взгляду особую ценность.

Говорил часовщик редко и с паузами. Зато слова его были вескими и звенящими, как гирьки: не старые, базарные, захватанные и заляпаные жиром, — а новенькие, магазинные, се-ребряные!

Правда, когда часовщика что-нибудь сердило, он говорил долго, горячо и сбивчиво. Но никогда не кричал, а только — как в песнях — переносил голос на тон выше, в другую тональность.

Фамилия у часовщика была смешная: Лагоша. Но разговаривал он про одно только несмешное. И после этого несмешного снова мечтательно улыбался.

— Жизнь все одна и все та же... — долетало до меня урывками. — При всех властях... При Царе Горохе — одно. При Сталине — другое. Сейчас — третье... Как оно так выходит?.. Мы же русские люди! А управиться с собой не можем... Горько быть русским! Изломалась наша жизнь, искорежилась... Но с другой-то стороны... Время, лишь глядя на излом его, — полюбить можно.

Правда, стоило мне подойти ближе, и Лагоша менял разговор, шевелил в воздухе тонкими прозрачными пальцами и чистым дискантом выкрикивал:

— Мастерская времени открывается!

В детстве я был непослушно доверчив. Однажды чуть не ушел с цыганами. В другой раз выскочил на арену цирка, пытаясь поймать какую-то зверушку. Я верил всему, что говорили родители или их знакомые. И от этого случались большие и малые неприятности.

В тот день у мамы был выходной. Сестра Светлана была в школе. Я готовился к поступлению в первый класс, и мне было скучно.

— Ма. Включи приемник, — канючил я.

Радиоприемник «Рекорд» мы тщательно прятали. Уносили его в темную комнату и накрывали платком, чтобы нас не оштрафовали или не заставили платить за свет в два раза больше.

— Ма... Включи, ма! Ну мы же русские люди...

Мама отложила тетради в сторону и взглянула на меня с ужасом.

— Не надо кичиться тем, что ты русский.

— Я и не кичусь, просто сказал: русские.

— «Усские, усские», — передразнила мама. Причем передразнила едко, зло.

Я с опозданием научился выговаривать букву «р». То есть, в шесть-семь лет я ее уже, конечно, выговаривал. Но иногда словно бы вспоминал ее прежнее отсутствие, и тогда буква «р» во рту у меня таяла, пропадала.

— Ма. Включи!.. Русские, не русские — все равно включи!

— Ты зачем вчера сказал этой дуре Матильде Алексеевне: «Мы русские, мы все вытерпим», — когда она в баню шла?

— А зачем она всем рассказывает, что идет в баню? И потом — так сказал часовщик.

— Не слушай его. Он-то как раз этим хвастается и кичится.

— Нет, он не хвастается. Он даже сказал: «Так горько быть русским, что даже и жить неохота».

Мама вдруг согласилась.

— Да, горько, но сейчас об этом говорить нельзя, не надо.

— Почему?

— Не принято хвалить и возвышать самих себя. Ну, русские. Ну и что? Другие, что ли, хуже?

— Не хуже, — согласился я. — Но вот Васька Пелипас — он грек, и он всем и каждому на улице говорит: «Я — грек». И ему ничего за это не бывает. А ваш учитель старших классов сказал: «Греки — славный народ. И великий».

— Так то греки. Про них можешь говорить сколько угодно.

— А про русских, значит, нельзя?

— Тихо ты! Этого еще не хватало. У нас тут уши из стен растут...

— Уши? Уши?!

Все рассказы про всех греков на свете вдруг отскочили от меня, как теннисный мячик от стенки.

Осмотрев — подробно и внимательно, не только на уровне своего роста, но и за тумбой, и под кроватью — наши стены, я вернулся и с укором встал перед мамой.

Мама все еще проверяла тетради и укора моего замечать не хотела.

Я зашел сбоку.

— Ну что еще, горе луковое?! — не выдержав, мама снова оторвалась от тетрадей.

— Нету... Нету ух. — Трагическим шепотом сообщил я.

— Ах ты, Господи! Ну что за наказание! Ты же не дурак вроде, а такие глупости городишь.

— Нет ухов, — поправился я.

— Ну я ведь про уши только так сказала. Ты же должен понимать уже...

— Хорошо, я понял. Тогда скажи еще про русских.

— Не буду. Я занята. Да я и не знаю ничего такого. Русские такой же народ в советской стране, как и все другие.

— Нет, не такой! — расхохотался я громко и неприлично. Богатое знание мира распырило меня.

— Анекдоты же только про русских и про евреев бывают. А про греков, украинцев и молдаван — нету! Вот, слушай: «Милиционер спрашивает на вокзале мужика: „Ты что здесь делаешь?“ — „Подъевреиваю поезд!« — отвечает мужик». — Вот! Поняла?

— Я тебя сама в милицию сдам. Я научу тебя уважать все национальности!

— Я и уважаю! Беру за хвост и провожаю!

Убежав в сад, я стал там шататься без дела. Невысказанные слова и мысли томили меня, однако подходить с вопросами к маме было теперь опасно. Приходилось все выяснять, все называть и переназывать — самому...

Мы жили на юге, однако никакого «одесского», как тогда говорили, языка в нашей семье я не слышал. Не звучал он и на улицах. Звучал чистый русский с примесью старорежимных выражений и крапинок украинского юмора.

И только слоняющиеся по окраинам блатняки говорили: «шо», «стрема» и «не шухер дело»...

Пришла из школы сестра второклассница. Приехала с толкучего рынка наша квартирная хозяйка. Пришли звезды, вечер и хлеб. Пробежался по спине настоящий осенний холод.

Позже всех пришел отец. Его, как оказалось, покусала собака, и ему уже сделали укол в живот.

Я ел хлеб, запивал его киселем и думал о собаке, покусавшей отца. Ранок на руке, оставленных собачьими клыками, я не видел, потому что в больнице их обработали и руку перебинтовали. Однако, саму собаку представлял хорошо: черная, в серых пятнах, выскочит — укусит, укусит — спрячется. Представлял и все вокруг собаки: забор на краю балки, ползучая темень, тонкая, кожаная, сдираемая собачьими зубами с руки, отцовская перчатка...

Но не собачий укус томил меня. Томило что-то неясное.

Допив полусладкий кисель, оглядев стол и быстро расчихав — больше есть нечего, я вдруг осознал: меня томит несправедливость. Тут же я эту Несправедливость по контуру и обрисовал: одета — как Матильда Алексеевна, край черного платка вьется по ветру, из глаз сыплются искры, из ноздрей хлещет пар, с подбородка свисают густые липкие слюни.

Это она, Несправедливость Алексеевна, творила вокруг все идиотское: надо было наказать собаку, но ее не дал наказать хозяин, собака была домашней. Вместо этого наказан был отец — сперва в больнице, а теперь его донимала мама. Надо было наказать милиционера, пристававшего к мужику на вокзале с дурацкими расспросами. А накажут, конечно, мужика, за то, что подъевреивал, то есть, поджидал поезд. И уж совсем точно накажут меня за то, что я про все это думаю и, не дай Бог, спрошу утром.

Утром, однако, Несправедливость Алексеевна убралась, провалилась куда-то! Это произошло потому, что уходя в больницу на процедуры, отец отправил нас с мамой с поручением к часовщику. Но не в мастерскую, а домой.

Было воскресенье. Часовщик катался по своей вытянутой в длину комнате на колесиках, как клоун в цирке. Дома у него часов было мало. Верней, были только одни часы. Я не сразу понял, что это часы, потому что они стояли на полу, как шкаф.

Пока я думал о клоунах цирка и о часах, которые зачем-то стоят на полу, часовщик Лагоша перестал кататься по комнате и сказал:

— Вы только не думайте, что я тут злоблюсь без ног. Наоборот, радуюсь! Знаете, почему? А вот. Я когда к Спасителю придю и Он меня увидит, так я ему крикну: «Наверно, Господи, так надо было!» И Он смутится и отвернется в сторону, на садочки райские глянуть. Потому что врать Он не умеет. И тут я Ему тихонько так, уже на ухо шепну: «Прощаю Тебе, Господи, мои ноги!» — И тогда... Пусть тогда свергает меня вниз!

— Иди на улицу погуляй, — сказала мама. Я нехотя вышел.

Предстоящий разговор часовщика с Богом меня заинтересовал. Про Бога у нас почти не говорили, за досужие разговоры о нем попадало крепко, как тому мужику на вокзале. Поэтому, попетляв у дверей парадного, я вернулся к растворенному настежь подвальному окну и стал глядеть на его створки сверху вниз.

— ...жить-то меня — Он оставил. Но без ног. Такая, значит, Его воля. И... И... — Теперь часовщик говорил как пьяный. Сквозь сдва шевелимые ветром подвальные занавески я это хорошо слышал. — И... И...

— Это трагедия войны, — послышался мамин голос.

— И... Иногда я слышу звон. Грустный, изломанный. Как в часах. Ну вроде отсчет времени пошел. Моего собственного. А я ж еще не жил как следует... Вот вы — учитель литературы. Описали б все это. А главное — этот изломанный звон описали бы. Ну? Понимаете? Капризность времени описали б, что ли... — Он резко и чисто, но по-моему не к месту, рассмеялся.

— Я не могу. У меня не выходит. — Я не видел маму, но чувствовал: ей в комнате неудобно, тесно. — Какую историю ни начну — у меня доклад получается. И конец все один и все тот же: «народный праздник». Вон сын у меня — тот все время истории придумывает. Поймает кого постарше за пуговицу и ну заливать. Врет безбожно! — Теперь уже засмеялась мама.

Тут заиграла музыка. Потом стали бить часы. Я стремглав кинулся вниз.

— «Русское каприччо», — сказал довольный Лагоша и, подъехав к часам, погладил их по деревянному боку. И даже этот бок поцеловал. — Только вот не знаю, кто эту музыку сочинил. Когда покупал часы — мне так и сказали: музыка

из «Русского капричча». А кто, что?.. Умру я от этой музыки!
Мне она все заменила...

— Ну мы пошли, — сказала мама.

— Сейчас, минуточку... — заторопился часовщик. — Возьмите то, зачем приходили. Мы ж с вашим мужем в одном госпитале лежали. А перед тем в одном море тонули. Он у вас тоже раненный в ногу.

— Сразу в две! — выпалил я.

— Ну вот, — сказал Лагоша, — ну вот. Он в две — и я в две. Его со дна Гнилого моря, ну, то есть, со дна Сиваша едучего поднимали — и меня. Но мне отняли — ему нет... А часы его я починить не смог. После покопаюсь. Вот, отнесите ему взамен другие. Пусть их пока носит.

Дома я спросил у отца про время и про часовщика.

— Семен Иванович Лагоша не просто часовщик — он механик-конструктор.

— Конструктор времени?

— Не болтай, время нельзя конструировать.

Тогда я спросил, кто написал «Русское каприччо». Отец посмотрел на меня с подозрением и промолчал. Видно, переживал боль укуса.

Не дождавшись ответа, я закрыл глаза и стал слушать звон оставшихся далеко в подвале напольных часов. И чем больше я его слушал, тем гуще и тесней становилось вокруг: звон заполнял балки, сараюхи, сады и нашу лучшую улицу — Говардовскую, которая так уже не называлась, но на которой продолжал стоять памятник таинственному победителю чумы и чумного угрюменького веселья, Джону Говарду.

Этот самый Джон Говард — ирландец или англичанин — про которого толком мало что знали, был врачом и другом всех населяющих нашу страну народов. А еще, говорили взрослые, он был «реформатором тюремного дела». Джон Говард умер у нас в городе, заразившись чумой от сестры какого-то помещика и завещал перед смертью установить на его могиле одни только солнечные часы.

Часы из красноватой меди, вместе с белым обелиском за белой оградой, на Говардовской улице — чуть наискосок от

скрытого каторжно-пересыльного зámка — ныне и пребывали. Но штука-то была в том, что самого Джона Говарда под обелиском не было! Сперва кто-то выкрал и увез в медицинской склянке его сердце, а потом пропал и сам прах. И где все это сейчас находится — никто не знал. Такие вот пугалки и пустяковины развешивали напоказ взрослые. Им было можно! А вот когда я начинал говорить о мистере Говарде что-нибудь жизнерадостное и лишь слегка приукрашенное — это никому не нравилось.

Ввиду всего этого посещавший больницы и тюрьмы Джон Говард вместе с чумой, неприятными врачебными осмотрами и занадобившимся кому-то умершим сердцем — постепенно от меня отдалился. И так и стоял вдали, слившись со своим обелиском, — как только что облитый водой дворник, с каменной белой метлой — уступив место напольным часам Семена Иваныча Лагоши.

В общем, воскресенье кончалось хорошо, приятно. Поэтому ни пьяная ругань за окном, ни молчание спрятанного приемника не могли уже в тот вечер меня огорчить или сбить с панталыку.

На следующий день, в понедельник, почему-то объявили выходной. Но только для учебных заведений и учреждений культуры. Из школы прибежал народный агитатор, который агитировал не только на выборах, но и во все свободное от выборов время. Мама, вздыхая, ушла с ним. С ней вместе — сестра.

— Сплаваем на катере по Днепру, — сказал отец.

— А уколы?

— Уколы — через день. Побреюсь, выпьем воды с сухарями — и вперед.

Сначала мы спускались к речному порту быстро. Но потом движение наше сильно замедлилось. Множество людей вдруг высыпало на улицы. Некоторые выступали группами и даже полуколоннами. Некоторые шли — как и мы с отцом — сами по себе.

— Никиту Сергеевича встречаем, — шепнул кто-то отцу. — Должен на Каховскую ГЭС через нас проследовать...

Дальше идти было невозможно. Все улицы и даже дворы были забиты людьми. Но почему-то не было привычных лозунгов, красных знамен и приветствий, не стучали барабаны, не трубили пионерские горны. Мрачновато и тихо было вокруг. Мне даже показалось: воздух из светло-осеннего, прозрачного превратился вдруг в дымный, коричневый.

Люди стояли и молчали так плотно, что не только мы — военные в форме не могли ни крикнуть, ни пробиться в первые ряды. Пустой оставалась лишь проезжая часть улицы при повороте в порт. Эта проезжая часть была замощена булыжником. Булыжник был хорошо виден и сильно блестел. А вот японского асфальта, которым крыли наши тротуары до революции, и на желтые квадраты которого я так любил наступать двумя ногами сразу — видно не было.

— Обойдем справа, через Пограничную. Там до порта рукой подать, — сказал отец.

Мы стали пробираться к Пограничной улице, но и там было полно народу. Люди помраченно молчали. Изредка слышался ропот:

— Че-то долго Никиты нету!

— Так он тебе по центру и проедет.

— Нас ему видеть никак невозможно, точняк объедет...

— А домик-то для его прямо на ГЭСе поставили... Ух и домик! Я видал. На самой гребле. А как же! Нине Петровне отдых нужен.

— Напорный фронт, говорю же вам... Здание с донными водосбросами... Там и строить-то ничего нельзя.

— А для него построили.

— Ну, если тут проедет — про все ему крикну.

— Это если рот открыть успеешь...

Я обернулся, но тех, кто говорил про домик — не увидел. Зато увидел: по проезжей части, сильно накрененной в сторону Речного порта и освобожденной для Никиты Сергеевича Хрущева, весело, быстро и в полном одиночестве катит на своей доске, отталкиваясь от земли двумя короткими колотушками, выскользнувший откуда-то из боковых проулков часовщик Лагоша.

— Ты гля, — прозвучал опять тот же голос. И я понял: говорят совсем рядом, в саду бывшего помещика Петра Соколова, чей вензель на решетке ворот мы с отцом часто разглядывали. — Ты гля, инвалид наш языкастый катит.

— Товарищи! — услышал я пронзительный голос часовщика Лагоши. — Товарищ Хрущев задерживается. Обождем его в Речпорту. Туда он обязательно прибудет. Мы должны встретиться с ним!

Вслед за этими словами многие стали выходить на проезжую часть, толпа сомкнулась, пространство, оставленное для Никиты Сергеевича, вмиг заросло людьми, как июльское поле травой.

— Быстро домой! — Отец ухватил меня за шкуру и поволок назад, как будто это я его вел в Речпорт, а не он меня.

Звон от Лагошиного крика стоял у меня в ушах весь тот день. Звон, свист и бой донимали и на следующий. Мне очень хотелось узнать: видел часовщик Никиту Сергеевича или нет.

Не выдержав этого боя и звона, я на следующее утро соврал нашей квартирной хозяйке, что мне разрешили пойти к соседу.

Сосед дядя Юра, временно неработающий, сразу же согласился сходить со мной на угол Суворовской и Торговой, якобы узнать, починены ли отцовские часы.

В центре города от вчерашнего звона и коричневого воздуха не осталось и следа. День был прозрачней стекол. Такою же прозрачной, пропускающей сквозь себя свет, была и витрина часовой мастерской, у которой мы на минуту задержались.

А задержались мы потому, что я увидел в витрине новые, только что выставленные часы. От неожиданности я никак не мог сдвинуться с места, хотя дядя Юра и дергал меня за руку.

В овальном корпусе нововыставленных часов — плавали ангелы. Вверх — вниз, вниз — вверх. Летать так медленно было нельзя, поэтому они — золотясь и потухая — плавали. Ангелов я узнал сразу по крыльям. Но вот внизу, под ангелами, на камне, сидел бородатый старик с суковатой палкой в руке.

— Кто это? — спросил я дядю Юру, дрожа.

— Кто? — Дядя Юра слегка поперхнулся, а потом спросил меня сам: — Так будем узнавать про часы?

— Нет, не будем. Они наверно еще не готовы. А это на камне — кто?

— Ну какой-то старик иностранный... Швейцарский, наверное, какой-нибудь старик. Самые лучшие часы делают у нас. Но еще в Швейцарии. Там и надпись в уголку имеется.

— Никакой это не швейцарский старик! — выкрикнул я. Но, испугавшись своего крика, быстро прикрыл рот ладонью: — Это Бог...

— Что ж, может и он.

— Он, он! А совсем не какой-то швейцарский... Бог тем и отличается от остальных, — бойко повторил я слышанное недавно — что ему все одинаковы: и греки, и евреи, и русские. Это его положительное качество, — важничал я дальше. — Про положительные качества Бога — маме на лекциях говорили. По научному атеизму. А еще...

Поперек этих слов, отстранив меня от витрины, в мастерскую вошли двое.

Один был милиционер, но без фуражки. Другой, лысачок в шерстяном теплом костюме, нес под мышкой тонкую кожаную папку.

Вскоре снова послышался звон. На этот раз вместе со стуком. Падали будильники на анкерном ходу, резко расправлялись в корпусах пружины, стрекотали спусковые механизмы, сыпались на пол мелкие винтики, грохались прямоугольные железные коробки. Упали и не разбились чьи-то напольные часы.

Часовщика Лагошу поволокли со стула, на котором он, ловко укрепив свою инвалидную дощечку, работал. Семен Иванович перевернулся вверх тормашками, и я увидел колеса его инвалидной дощечки. Колеса были в глине. В глину всохлись несколько стебельков травы.

— Часы! — звонко крикнул Лагоша. — Не мешайте идти часам! Часов-событий — не остановить!

Опершись рукой о пол, часовщик ловко перевернулся и снова встал на колесики. Он собирался крикнуть что-то еще, но человек в штатском, не выпуская из рук тонкой папочки, вдруг ударил ногой под дощечку, по колесам.

Ударившись головой о ножку стола, Лагоша перевернулся набок.

Я думал мир тоже перевернется: выйдет грозно из часов Господь Бог, опустит свою палку на голову лысачка, ангелы вцепятся милиционеру в погоны...

Мир, однако, продолжал стоять на месте. Ни Бог из часов, ни три других часовщика — каждый с блестящим окуляром в глазу — ничего не предпринимали. Зато вбежал в мастерскую активист Спешалы — активистом его звала наша квартирная хозяйка, давным-давно служившая с ним вместе в РайОНО — и, подскочив к Лагоше, два раза ударил его по скуле свернутой в тонкую трубку газетой.

— Мирзавиц, мирза-авиц, — повторял активист одно только слово. Повторял так, словно все остальные слова он забыл и времени их вспоминать у него не было. — Такие выражения про партию... Мирза-а-авиц!

— Не мешайте часам!.. — Снова завел свое Лагоша. Тут, однако, раззявил рот лысачок в праздничном костюме.

— Калека, а туда же, разговаривает, — сказал лысачок, — а ну давай, бери его под микитки, — вызверился он на растерявшегося милиционера без фуражки. — Сказано — доставить, так хоть волоком, а доставим.

— Мы же русские люди, — пискнул опять Лагоша. — Товарищи, мы же...

— А ну, глохни... Давай скорей, Микола! В мешок, что ли, эту гниду запихнуть?

Грустно изломалась жизнь. Вокруг ничего не было видно и слышно. Мы с дядей Юрой, который искал работу и был тихий и белый, как висящее над рукомойником полотенце — шли восвояси. В голову мою вскакивали и тут же из нее выскакивали разные слова, их сочетания. Раньше так никогда не было. Раньше я про все — как меня и учили — думал по порядку. А теперь — обо всем сразу:

«Горе луковое. Думс.

Ноги остались в Гнилом море. Дин-дон-дон. Дин-дон-дон.

Звонят? Звон.

Грустно звонят и зло. Грустный излом? Думс.

Джон Говард, победитель чумы. Думс. Думс.

Так сладко быть русским, потому что так горько быть им...»

Мы давно миновали центр и заканчивали идти по моей любимой Говардовской. В уши вкручивались жидкие звоночки велосипедов, втискивались сигналы автобусов и машин. Близ городского кладбища кричал привязанный к ограде маленький горбатый ишак. Он крикнул еще два-три раза, потом оскорбленно смолк.

Мы свернули к новому жилому массиву. На повороте я держался за круглые отполированные прутья железной ограды. Тут только я заметил: дядя Юра ведет меня не к нашему дому, а к дому часовщика Лагоши. Я вопросительно глянул на него, но он взгляда моего не заметил: видно, шел, не разбирая дороги. Или, как говорила наша квартирная хозяйка: «Шел, куда ноги несут».

Наперекор сигналам автобусов и крикам ишака, я пытался услышать бой Лагошинных часов. Мне хотелось, чтобы они сейчас же, сию же минуту сыграли изломанную и причудливую, но тем-то и прекрасную мелодию «Русского каприччо». Я думал: ударят часы, заиграет часовая музыка и все ненужное умрет, отсохнет, а останется одно только нужное, приятное.

Но часы молчали, хоть мы и проходили совсем недалеко от них. Я дергал дядю Юру за руку, однако он думал о своем.

Миновали Лагошин подвал. От нестерпимости ожидания и от того, что не слышна часовая музыка, у меня закружилась голова. Я присел, а потом и прилег на землю.

Излом времени отнес меня назад, к началу дня...

Ровно через год, осенью, в октябре или в ноябре, уже зная, что *«есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»*, — я шел один без всяких провожатых в музыкальную школу.

В руках у меня была папка для нот и пустой скрипичный футляр. Скрипку я забыл дома умышленно. Я не хотел заниматься музыкой, а хотел самолетостроением и ремонтом часов, может — ремонтом времени.

Скрипки не было, зато в футляре, в специальном закуске, предназначенном для струн и канифоли, лежали часы, одолженные Лагошей отцу. Часы были трофейные, немецкие. И поэтому мама не советовала отцу их носить.

— Выкинуть их, что ли? — Как-то раз сам у себя спросил отец. — Или вернуть родственникам?

— Верни, верни, — ворчала мамина сестра тетя Нина, — только они и ждут этих твоих часов. Хап тебя за руку — и все!

— Кто — «хап»? Родственники? — Не удержался я.

— Ага, родственники, — съязвила тетя Нина, — ближе тех родственников у нас отродясь не бывало.

— Какого механика угрохали, — сказал отец и вышел в сад.

Было без четверти четыре. Шел я незнакомой дорогой. Год назад мы переехали на новую квартиру. Я давно решил вернуть часы самому мастеру или его родственникам. Удобнее всего это было сделать в мастерской, но Лагоша там больше не работал.

Спустившись в подвал, где мы побывали с мамой прошлой осенью, постучал в дверь и вошел. За столом, а также на застланной кровати сидели незнакомые люди. Две женщины и один мужчина. Они готовились есть.

— Вот часы, я их принес, — сказал я и поставил на пол пустой скрипичный футляр.

— Чего-чего? — недовольно протянула старшая из женщин. — Каки таки часы? Чьи?

— Часы Лагоши, который тут живет.

— Ты что болтаешь, малец? Здесь мы живем. Мы, и квит!

— Говорила я тебе! Говорила, ась?.. — вдруг завизжала младшая из женщин. — И не хрен сюда было совсем ехать! Какая еще Лагоша? — закричала она теперь уже на меня.

Я испугался.

— Лагоша... Семен Иваныч... Вон и часы его на полу стоят...

— Во-о-н, вон отсюда! — завопила дико старшая из женщин.

И тут ожили напольные часы. Они сыграли все то же «Русское каприччо», а потом ударили четыре раза. Лагоши не было, а часы — были. Они уже закончили бить, а я все повторял про себя два такта сыгранной ими мелодии: слегка изломан-

ной, чуть капризной, говорящей о чем-то таком, чего никогда не бывает на свете.

Выталкиваемый из подвала внутренним звоном и боем, я кинулся наверх, на улицу.

Говардовская ломалась, искрила и прыгала перед глазами. Было жутко, но почему-то и весело.

Я засмеялся, вынул из скрипичного футляра, из отделения для струн и канифоли трофейные часы, качнул их два-три раза на черном кожаном ремешке и, чувствуя громадное облегчение, опустил в прорезь канализационной решетки.

Часы беззвучно канули вниз. Мастерская времени закрылась.

Ехал на Птичку Иван Раскоряк...

На горбу мешок с кормом. В руках птичьа порожняя клетка. С головы съезжает «пыжик» с надорванным ухом.

Ваня встал со звездой, вышел затемно, к первому автобусу. И то: добираться ему на Новую Птичку — на Новый Птичий рынок — чуть не три часа. Снегу почти нет, скоро весна, но по утрам холодно, и одет Ваня во все теплое: длинная куртка с подстежкой, ватные штаны, сапоги армейские.

Идти к автобусу далеко, неудобно. Раньше б оно — все ноги переломал, а теперь легче: здоровенная круглоколесая реклама днем и ночью сыплет искрами, булькает красно-синим газком, круглое автомобильное колесо без конца вертит.

Клетку волоочь на Птичий неудобно, а ничего не поделаешь. Здесь в Перловке за нее гроша ломаного не дадут, а там, глядишь — полторы сотни отвалят.

Денег у Вани нет совсем. Дома пять сотенных бумажек, на черный день. В кармане — десятка с мелочью на обратный путь. Туда-то на Птичку «за так» ехать придется.

Но только отъехали — контролеры, мать их. «Гражданин, ваш билет... Как не стыдно государство обманывать. Еще выражается...»

Тут еще и водитель добавил: «Он не брал, не брал, так прошмыгнул!»

Ссадили. Ваня потоптался на месте: клетка на дороге, мешок в руке. Автобус — пригородная трехсотка — не спеша укатил. Женщина-контролер, румяная до красноты, сквозь заднее стекло все глядела на Ваню. Улыбалась чему-то.

Невдалеке за навороченной эстакадой — Москва. Вроде рядом, а пешадралом — полчаса.

Ваня закинул мешок за спину, подхватил клетку, выбрался на Окружную, стал голосовать.

На Птичке, по четвергам, не так чтобы и людно. Основной народ к выходным подвалит. На саму Птичку Иван не пошел. Встал метрах в тридцати от входа. Корм для рыбок продавал долго, почти до обеда. А клетка непроданной оставалась. Да и кроме клетки было еще кое-что: то, за чем ехал.

Ехал же Ваня на Птичку для смутного дела. Грызло оно его и терзало, хоть таблетки пей! Но таблетки Ваня пить не стал. Сюда, на Птичку выбрался. Он и раньше кое-что продавал близ Птички. Но не часто. Дух на Новой Птичке — не тот. Не запах, не воздух — именно дух! Старую Птичку Иван любил. А вот к Новой никак приспособить себя не мог...

Клетку никто не брал — старая, грязноватая, хоть и мыл, и чистил.

«Так и вечер скоро...»

Ваня в сердцах несколько раз раскрыл и закрыл дверцу, клетка звякнула, маленькая щеколда на дверце обломилась, он кое-как щеколду прикрутил, смачно плюнул, двинул на саму Птичку, на рынок.

Ох и бедлам на Новой Птичке! Люди-звери и звери-ангелы. Простаки, мудрецы, хитрованы. И, главное, чуть не намертво приросли все друг к другу!

Но... Разные звери — разные люди! И характер у человека — как у его зверя. А иногда — звери и птицы на людей, как две капли воды, походить начинают.

Грызунов продают — жадные, запасливые.

Птиц — растеряшки мечтательные.

Гадов и крокодилов — люди древние, люди далеко и крупно выглядящие.

Домашней птицей — жестокие торгуют. Животных — это Ваня знает точно — убивать на рынке запрещено. А эти, для клиентов — нате вам, пожалуйста — курам головы наотмашь рубят!

Еще — голубятники. Те все почти урки. Голубей тихо и гадко придавливают, чтоб, значит, в неволе яиц не клали.

Но сцепляет всех тех человек, отбирает по норову и по людской масти — расположение рыночных рядов.

Самый ближний к Ване ряд — кошачий.

Глаза у кошечек веселые, добрые. Мордочки счастливые. Только с чего бы это? Ваня знает с чего. Поэтому — скоренько дальше.

Дальше — гады. Их, правда, и называть так не хочется. А как? Ваня роется в памяти. Точно, рептилии! Черепахи с гнилыми легкими, ужи-змеи — клубками, игуаны крокодилы, все иное прочее: серое, мерцающее, больное, здоровое — перемешано, перебито...

За черепашным рядом — собаки. Тут наметанному глазу все становится ясно окончательно. Есть, конечно, меж собак и здоровые, есть и бодрые. Но... переросточки они все! Месяца им по три, по четыре. А для продажи надо куда как меньше: полтора, от силы два месяца. Некоторые щенки — для веселости и форсу — наркотой напичканы. Это Ваня по блеску глаз сразу определяет. У него ведь только по недоразумению — диплом техника. Надо было в зоотехники, в звероводы идти! А так — ни техник, ни зоотехник, вообще никто.

Ваня обмахивает с лица грустняк, медленно движется по направлению к любимому ряду, к птицам.

Тут как на зло — ушлаган знакомый. Торк Ваню в бок:

— Про должок, Ванятка, забыл?

Долг не ахти какой, сто двадцать рублей. Но ушлагану не долг важен — Ваню поприжать требуется. Поэтому без слов половину приторгованного ушлагану в карман: отстань, на фиг!

Вдали Елима Петрович показался. С Ваней у него давние счеты. Не пускал Елима его еще на Старую Птичку, гнал отту-

дова и страшал, пригородной шелупонью обзывал. А за что — так до сих пор Ваня и не понял.

Завидев Елиму Петровича, Ваня присел на корточки и ну первую попавшуюся собаку по уху щелкать!

Елима Петрович — розово-лысый, вширь раздавшийся — хоть и хозяин почти половине рынка, а каждую мелочь до крохи помнит. Ходит, смотрит, закорючки в блокноте рисует.

Долго в собачьем ряду Ваня выдержать не мог. Приподнялся, увидел: Елима Петрович все вокруг осмотрел, назад возвращается. Тут Ваня в ряд птиц и вступил.

И сразу еще одна напасть: «сестра-хозяйка», Пашка.

Познакомились чудно. Курили как-то близ рынка. Ваня матом выражался, Пашку за газировкой гонял. А потом Пашка-пацан шапочку лыжную скинул — оказалась девка. Лет двадцать, не больше. Младше Вани лет на восемь.

Душевно они тогда покалякали, а потом Пашка волосы опять прибрала: не хочет девкой быть на рынке, боится. А с Ваней обещала встретиться когда угодно и где угодно.

Только давно это было. Ваня тогда смерть жены переживал, настоящего внимания на Пашку не обратил. Зато сейчас она в него, как рак клешней, вцепилась.

— Все, все, отстань! Потом подходи, после!

Никак не займется Ваня птицами. А надо. Душа горит!

Давно он задумал одну штуку отчебучить: повыпускать всех рыночных птиц к ядрене фене! Да не так выпустить, как продавцы предлагают: «Загадай желание, давай полтинник, отпущай голубя». А тот голубь два-три круга над рядами сделает и к хозяину вернется. Не так. Пусть все летят! Зима кончается, авось не померзнут. Все лучше чем в клетках себе шею сворачивать!

Только как же им из рыночного ангара вылететь?

Но и это обдумал Ваня. В крыше широкое отверстие есть! Да и двери, если их все отворить, птицы найти смогут.

*Летела гагара
По краю ангара...*

Раньше Ваня «не доезжал»: куда это непроданные птицы с рынка деваются? Потом понял — куда. Потому-то и хочется Ване всех — на волю! Пусть летают. Смерти случайной не боятся, жизни постылой не стыдятся...

— Мэтинг, мэтинг, — шепчет кто-то Ване в самое ухо.

— Чего?

— Эх ты, дяденья! Мэтинг — это совокупление животных. Покруче нашего они совокупляются. Ну, берешь? Давай, чудрила, пару дисков даром отдам!

Но тут рассмотрелся продавец, прикинул собеседника на вес и на деньги, видит — пустой Ваня, и сразу его как ветром сдуло.

За «дяденью» Ване обидно. Как никак — под Москвой живет. Но и чувствует: правда! Хуже деревни — пригород. И он, Иван, самый что ни на есть негодящий: пригородный. Москвой придавленный, грязью заляпанный, магазинами обделенный, товаром обнесенный. Словом, ни Богу свечка — ни черту кочерга. И все пригородные такие же. Вся жизнь — на ногах, в дороге. Одну дорогу и видят, а жизни настоящей — так той даже не нюхали.

Тут, вместе с обидой на пригород, Ваня вспомнил отца. Заблудился на него мысленно. «Зачем в Перловке осел? Зачем до Москвы не дотянул?»

Но отца-батяню Ваня любил. Долго на него сердиться не мог. Отец у Вани был подполковник, танкист. Прожил семьдесят шесть годков. Умер — счастливый. А жил тяжело. До пенсии — так и вообще гадко. И все из-за собственного имени. Звали отца — Лазарь. Лазарь Калинович. Те, кто зла отцу не желал — звали Калина-малина. Ну а за Лазаря досталось ему крепко. И в армии, и на гражданке.

— Что за имя такое для русского человека? Спрашивали и били. Жалели, поили водкой и били опять.

Потом снова спрашивали с пристрастием.

Однако умер отец — небитым, умер довольным. Как с северов в Перловку переехали, стал Лазарь Калинович выдавать себя за еврея, влезал в мелкие торговые дела, научился картавить и деньги были. Но Ване отец ничего не оставил: все в последний год жизни спустил на крашеную челночницу.

С отца Ваня перескочил на покойницу-жену, которая померла ни с того, ни с сего, а потом на мать, которую почти не помнил.

Срочную Ваня служил на Балтике, в Калининграде. Вспомнил и про флот. И только тут заметил: держит он в руках чью-то чужую клетку, а свою на землю поставил.

— Я ж говорю — свеженькая пташка, только вчера привезли. Бери!

Ваня вздохнул, чужую клетку к туловищу прижал, полез рукой внутрь, ощупал черного нахохлившегося дрозда, огляделся.

Прошел мимо ветеринар в куцем белом халатике. Где-то вддали мерцнул глазками розовый, ветчинно-рылый и ветчинно-рубленый Елима Петрович. К уху Елимы прилип казенный человек с коричневыми щеками, в синей прокурорской форме. Пряталась за широкие спины, боясь подойти ближе, белобрысая — сегодня без всякой лыжной шапочки — Пашка.

Ваня разжал ладонь, чуть подкинул и выпустил дрозда.

Одно время Пашка даже хотела поселиться и жить близ Новой Птички. Но это только сперва. Быстро перехотела. Тогда она через день — кроме понедельника — стала сюда ездить.

Пашка жила в Москве, в Отрадном, но работала в области. Медсестрой, и тоже через день. В Москве работы для нее не находилось. В области платили мало, зато и отстеежек не требовали. А на Новую Птичку Пашка ездила, думая сперва приработать на котятках. Потом — из жалости. Потом — по привычке. А уж после — чтобы встретить Ивана. Она бы прямо тут стеречь Ваню осталась. Нормальный мужик того стоит. Да страшно. Не за себя, а вообще.

Ну а страшно потому, что попала Пашка однажды в близлежащий лесок. Теперь мимо этого леска проходила она, втянув голову в плечи и закрыв глаза. Но и с закрытыми глазами видела то же, что и в первый раз: трупики птиц, лапы, мордочки и хвосты мертвых зверьков. Слышала писк живых еще...

После этого Пашка стала звать Новый Птичий — Невольничьим рынком.

Елима Петрович вышел из подсобки и обтер руки о кожаный новенький фартук. Он любил сделать что-нибудь собственными руками. Хоть нужды давно и не было: был наверху, наличку считал стопками, мог бы и отдохнуть. Но Елима был мудрец, знал: одна только работа делает свободным. И вообще труд сделал из обезьян человек. А на Птичке, случилось, он сам из этих человек обезьян делал. Словом, Елима пыхтел, сопел, рук ни на миг не покладал.

После обеда народу стало больше. Цепко оглянув ряды, Елима Петрович сразу заметил непорядок. Верней, непорядок этот еще только готовился, но он даже и подготовку заметил: обернулся, махнул кому-то рукой.

Казенный человек с бурым, морщенным, как сухая фрукта, лицом — еще недавно был пристав. Теперь — бывший пристав. Этого слова «бывший» — он не выносил. Правда и поперли его из приставов совсем недавно, так что вполне мог сойти за пристава настоящего.

Бывший пристав Трофимьев вмиг оказался близ Елимы Петровича.

— Ты зачем в форму вырядился? — зашипел на пристава розовый Елима. — Хочешь, чтобы тобой занялись как следует? А потом и всеми нами? Ты — бывший. Бывшим быть и обязан!

— Не хочу.. Не буду бывшим! — плаксиво заговорил Трофимьев.

— Сгинь отседа, — вдруг смягчился Елима Петрович, — сгинь, иди в подсобку. Счас для дела потребуешься.

Не давая продавцу опомниться, Ваня отворил вторую клетку, за ней третью, сбил заднюю перегородку со стеклянной попугайской витрины, выпустил с десятков волнистых, перескочил через какие-то коробки, обрушил ногой поставленные этажеркой ящики, ухватился за купол громадной совиной клетки, отворил и ее...

Шум и гвалт плотной волной потекли по рынку.

Одна птица — видно, полумертвая — тут же брякнулась оземь. Еще две — полетели низко и кривенько, но вместе, парой. Еще несколько взметнулись вверх. Крикнул резко и зло выпущенный на волю скворец. С перепугу начал петь, а потом резко замолк черный дрозд.

К Ване бежали охранники. Хватал за грудки продавец. Ваня огрел продавца своей собственной, так и не проданной клеткой, клетка обломилась в сторону, в руках осталась только дверца. Дверцу Иван сунул за пазуху.

Он думал — его изувечат, убьют, пятое, десятое... Ошибся.

Не одна лишь волна злобы окатила Новую Птичку! Койкому Ванина забава страшно понравилась. Сразу несколько покупателей — один даже очень приличный, в мехах, в перстнях, — потянули руки к клеткам. Выпустили, смеясь, еще нескольких птах.

И завернулся винтом под куполом рынка небольшой, но крикливый птичий вырей! Словно собравшись за море, кружили и кричали птицы, ища выхода из ангара.

Этот ошеломляющий звук, звук полученной «за так» свободы, сделал Ваню на миг пустым, бескостным. Птичий звук был лучше жизни, был приятней и справедливей ее. От радости и от счастья Ваня закрыл глаза.

Тут его сзади чем-то тупым и огрели.

Из-за раздухарившихся молодчиков, выпускавших почем зря чужих птиц, Пашка никак не могла добиться до Ивана. Она толкалась и щипалась, но продавцы и покупатели радовались и злобствовали, реготали и рвали на себе волосы, показывали вверх и друг на друга, трясли животами, стояли плотной стеной.

Ваню потащили — за этим Пашка следила безотрывно — в подсобное помещение. Но в какую именно дверь затолкали — этого заметить уже не могла. Чуть не ползком, ударяясь о задницы и колени продавцов-покупателей, пробралась она к северному входу, стала дергать запертые двери. Заглядывала и в двери открытые.

Ивана нигде не было.

Очнулся Ваня от воздуха. Воздух бил в нос, холодил виски. Зимний день уже сильно клонился к вечеру.

— ...так скажи за это спасибо Елиме, — услышал он над собой зычный командирский голос, и тут же попытался встать.

Однако держали Ваню крепко. Да и руки его оказались связанными.

Какой-то бетонный закуток. Задний двор что ли? Людей — нет, кошечек-собачек тоже не видать. Но небо московское — дымится, огни вечерние московские вдали освечивают!

Казенный человек бурой мордой своей лез прямо на Ваню.

— Т-т... товарищ прокурор, — решил схитрить Ваня, — я это самое... Я ж не нарочно...

— Какой я тебе, к чертям, прокурор. Пристав я! Не знаешь формы, дурак?

— Ладно, пусти его. Слушай сюда внимательно, — охранник с нашивками на рукавах и на груди, повертел головой, как будто ему мешал дышать туго застегнутый ворот. — Ты тут пташек — на пять штук баксов выпускал. А еще штраф с тебя. За дебош. Счас хозяин придет, он точно урон определит.

Елима Петрович только для порядку заглянувший в каменный мешок, брезгливо поморщился, сказал: «Чтоб я этого обалдуя больше здесь не видел», — повернулся, но, уходя, призадумался.

Ставить Ваню на «счетчик» он не желал. Не потому что жалел Ваню. Знал: бесполезно. А бесполезных вещей Елима Петрович давно уже не делал. Ну а раз бесполезно — так и надо подобрать к человеку. Тем более после сытного обеда гневаться грех.

— Ты, конечно, сильно мне тут напортил. Но зла я на тебя, Иван, не держу. Может, так оно и надо, птичек иногда выпустить. Даже праздник такой есть — Благовещение. Для выпуска птиц предназначенный. К этому празднику птичек на Руси раньше и выпускали. И сейчас такое, может, случается. Но ты, Ваня, поперед праздника забежал. Нету его пока, праздника, нету! А вот на рынке ты мне порядок ух как испортил. А по-

рядок — он всегда и во всем быть должен. Поэтому ты вот что... Убытку от тебя, конечно, много...

Елима Петрович на миг запнулся.

— На «счетчик» его! — захрипел охранник, обрывая пуговицу с ворота.

— Ты охолонь, Василий. — От собственной ласки Елима Петрович даже вздрогнул. — Охолонь, расслабься. А я пока подумую.

Елима стал думать. Кожаный фартук на его животе из морщинистого стал гладким.

— В общем, сделаете так: праздник, он все равно когда-нибудь да будет. Так что выведите его отсюда и под зад коленькой. Ну, в общем, с миром отпустите. Если, конечно, у вас у самих к нему вопросов нет. И чтоб духу его здесь больше не было!

Елима Петрович не спеша возвратился в ряды.

— Как не так, — бурчал, выводя Ваню из каменного мешка за ворота, бывший пристав. — «Отпустите с миром!». И рынку от него убытку на пять штук баксов, и государство в прогаре: теперь этих птиц полумертвых собирай, живых — лови. За уборку территории, опять же, таджикам плати. Давай его в машину, поехали!

Тут, на вечеряющей дороге, близ розово-клубничной Елиминой машины, их и обнаружила Пашка.

Она кинулась сперва на охранника, потом на бывшего пристава, стала кричать, кусаться. Пашку запихнули в машину. Там она на время успокоилась.

Шумела дорога, молчал вдалеке лес. Рядом летали вечерние птицы: то ли упорхнувшие с рынка, то ли вольные — было не понять. Потом птицы устали, сели на деревья, сняли и повесили — так показалось Пашке — на ветки крылья. И от этого уподобились людям: стали бесшумными, слабо видимыми.

Казенный человек сперва ничего дурного с Ваней творить не собирался. Но в машине, уже порядочно отъехав от рынка, он вдруг разнервничался, стал накручивать себя донельзя.

Ваня показался ему преступником закоренелым и преступником безнаказанным. Вина Ванина в глазах Трофимьева росла и росла. А тут еще эта девка. За палец укусила, шалава!

Думая спервоначалу Ваню и Пашку лишь слегка попугать, бывший пристав вдруг все на ходу перерешил.

— А ну, останови! — крикнул он водителю.

Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал из машины на дорогу.

— Поворачивай назад! — Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.

Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.

Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку.

До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.

— Выходи, — сказал Трофимьев торжественно. — Выходи, бандюган пригородный.

Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, ударил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сын:

— Ну, гад, я тебя урою!

Вечер лег гуще, плотней.

Выкинутая из машины Пашка резво бежала по улице Верхние Поля. Мысли ее тоже бежали вприпрыжку. Она вспомнила то свою медицинскую службу, то Ивана. Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копошившийся в ушах еще со времени первого посещения леска.

Лесок этот, не большой — не маленький, раскинулся сразу за Окружной дорогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Просто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как зашла — так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в коробке — котята. Мертвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие-нибудь посторонние котята! Так нет, те самые, дымно-рыженькие, которых при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Перекупка кля-

лась и божилась, что пристроит дымно-рыженьких к замечательным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.

«Вона куда их!»

От внезапной боли в кишечнике, Пашка не сразу смогла разогнуться. Наконец, распрямилась, огляделась.

Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и от любопытства, Пашка углубилась в лес. И чем дальше шла — тем становилось страшней. Под деревьями мертвые птицы, в коробках — штабелями — бездвижные черепахи.

Котят мерзлых — немеряно. А собаки... Те вообще на части порублены.

Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли ее дальше. Страшный лес еще не умер! Он хрипел, стонал, подмигивал, пытался выжить.

Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о что-то мягкое, упала.

Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, пришлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, высморкаться.

Ваня шел по лесу с тремя утомительными придурками, но думал не про них, про птиц: «Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влет и в силки заманивают. Но под ярмом нашим они не ходят!»

Иногда перескакивал мыслью и на людей. «Ну излупят, — думал, — ну обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!»

Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал — как это часто с ним в последние месяцы бывало — вести внутри себя разговоры с высокими лицами.

«Эх, Ладим Ладимирович, — говорил про себя Ваня, — Ладим Ладимирович! И Вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чего-то никак не пойму. Все вроде у нас путем, а человеку хорошему — ни жизни, ни воли. Козлам да ба-

ранам — тем раздолье. А кто честный — тому осиновый кол меж лопаток! И деньгой-то ему в харю тычут, и всем иным попрекают. Нет, не подняться честному! А подыметя — так бумажками закидают. И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот вы по ящику правильно все говорите. А выключил ящик — и все, и другая жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают ее и перепродают, чего-то ненужное строят. А людям от тех построек — что за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. Но навсегда нищим оставаться — как-то оно утомительно, а? Может, не надо так?

— Надо, Ваня. Ну просто необходимо. — Строго так и степенно отвечают внутри у него Ладим Ладимирович и Митрий Анатолич. — Ты погоди маленько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда-нибудь лучшей станет. Неравенство — оно кого хошь выучит. А касательно пригородного населения — мы с кем надо строгий разговор иметь будем. В этом, Ваня, не сомневайся!

— Нет, я че-то. Ну словно бы — сомневаюсь! Если, конечно, сверху глядеть — вроде у нас порядок. А подойдешь поближе.

Все у нас хорошо — только жизнь плохая!

Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной оставаться, указано на город до скончания века батрачить — что ж: потеряем, сполним!»

После таких бесед с высокими лицами Ване всегда хотелось петь: от радости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.

Он и сейчас пошевелил связанными руками, потому как петь и не размахивать руками не мог, и запел вполголоса:

*Ехал на Птичку Иван Раскоряк,
Ехал, споткнулся, и в грязь мордой — бряк...*

— А раз ехал, так и приехал! — крикнул по-звериному глухо бывший пристав. — Приехал, говорю, ты, Ваня!

Пашка все никак не могла двинуться с места.

Вроде только полтора-два километра пробежала, а не было сил. Да и что-то держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась и увидела на дереве облезлого серого кота.

Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть. «Вона кто не пускал!»

— Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут...

Кот еще больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мякнул, сдал назад — так Пашке во всяком разе показалось, — и она вступила в самую гущу кое-где еще снежно белевшего леса.

Пашка шла наобум, по косой, едва приметной дорожке. Шла не оглядываясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на ее пути длинными кривыми ветвями, страхов.

Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно что-то учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и видно устав прятаться от собак и людей, пошел вслед за Пашкой. Шерсть его кое-где еще топорщилась, но хвост по земле больше не волочился, торчал трубой.

Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу — «на произвол судьбы» — покинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя по-настоящему не накажет! Раз уж Елима не стал — другие и подавно не захотят.

А тут еще Ваня сглупил, стал развязывать — и развязал таки руки.

Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: «Вишь, развязался!» — и тут же въехал Ване в ухо.

Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на земле Ваню тяжелым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности дали еще камнем по затылку.

В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было неинтересно. А наказать надо было по всей строгости, до конца.

Вдруг Трофимьев обрадовался:

— А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!

На границе кошачье-собачьего кладбища и молодой, примыкавшей к старому лесу, рощицы — было вырыто несколько непонятных ям: то ли для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умиравших близ Новой Птички бродячих людей. Вскоре такая яма недалеко и обозначилась.

— Давай его сюда. А то Елиме достанется. А Ваня... Он же перловский, здесь его искать никто не станет.

Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек и какую-то зеленую корочку.

— Ф-ф-у, Иван Лазаревич... — Прочитал он и скривился. Но Ванину корочку себе в карман все ж таки сунул.

Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того из-за пазухи. Спустили вниз, прикидали мерзлой землей, еще и навернули сверху всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от ящиков, собачьего смерзшегося дерьма...

Пашка заблудилась. Попала не туда, где обретались те трое и Ваня. За спиной кто-то мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, она увидела пристава, охранника и водителя. Они садились в розовую, спелоклубничную, на миг засветившую себя изнутри — как сердце — машину.

Вани с ними не было.

Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помалкивали, не слышно было ни собачьего повизгиванья, ни птичьих криков.

«Где ж Ваня?» — Она снова развернулась спиной к дороге, лицом ко все еще пугающему мертвым зверьем, лесу.

Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что спертым — стало кончатся совсем.

Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в нее глубже и глубже. Ужас сменился радостью, радость — снова ужасом: что там в глубине? Что-о-о?

Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню за нос, удалился. У Елимы во всю щеку — свежая золотуха; через рот, до затылка, сквозная рана, дымит, чернеет...

Проскочил завхоз перловского Дома творчества художников, не позволивший когда-то Ване — «не член Союза!» — камни резать. Завхоз тяжело наступил ногой на грудь.

Цапнул за шею неизвестный, но страшно когтистый и маленький — размером с хорошую собаку — могильный зверь.

С болью притронулась к виску Пашка.

От всех этих прикосновений Ваня совсем перестал дышать. Но и глубже в землю перестал опускаться. Чувствуя, что дыханья взять больше неоткуда, крупно дрогнул всем телом. Двинул рукой, потом ногой, и вдруг со скрежещущей радостью ощутил: земля крохкая, поддается, можно, нужно наверх!

Левая рука ощупала дверцу птичьей клетки. С громадной тяжестью, подведя руку к лицу, Ваня стал этой дверцей отгребать от носа всякую дрянь. Даже загордился: без дыхания, а живет! Но это была другая жизнь — отвратительная, ужасная, с ходящей ходуном, требующей воздуху грудной клеткой, с ледяными осколками глаз, со слепым и корявым узнаванием предметов, каких на земле отродясь не бывало.

Тут мысли в голове сдавились сильнее, как-то вкривь и вкось подумалось: «Для тебя, Ваня, счас Бог — сыра земля! Че ж из нее и выходить? Еще чуть — станешь крепким, как корень, не разрубаемым, как дуб!»

— Ну нет, — рыкнул Ваня себе же в ответ. — Бог — Он один! Что в сырой земле, что на небе. А ежели всякие людишки и звери тут сквозь меня шлендают — так это, может, и не от Бога...

Мозг, еще недавно пылавший красным расколотым фонарем — «это он от натекшей крови красный!» — подернулся золой, гас угольками. Вместо дыханья обычного пришел, ломающий грудную клетку, дых. Холод неслышанный, холод могильный сдавил сердце тяжкими льдинами.

Но однако ж — руки двигались, шея покручивалась.

Вдруг разбитый ящик, державший на себе целый пласт мерзлой земли, съехал в сторону. Правой ноздрей, в которую

земля набилась не так туго, Ваня хватанул капельку ласкового, надмогильного, тепловато-гнилого, почти весеннего воздуха.

Бывший судебный пристав подхватил с заднего сиденья бутылку портвейна, широко расставляя слова, сказал:

— За упокой... души... раба Божьего... Ивана.

— Слышь ты, приставной! Давай вернемся, отроем. За что его так? За пять штук баксов? Так у него четверть дома и сараюха в Перловке. Заставим продать — штук на двадцать потянет.

— Я те вернусь. Ишь, заступничек выискался. Как я есть человек государственный...

— Приставка ты к человеку. Бывший ты — государственный!

— А это... ничего не бывший! Я тебе вот что скажу: надо нам от всякой шелупони освободиться. Ну, секешь? Не тянет она, шелупонь, в нынешних условиях. Ни капитала, ни ума у нее, ни прочей собственности. Одна гниль да прель по сараям. Так чего им тогда в этом мире и мучиться?

Жизнь в могиле была короткой. Но это была именно могильная жизнь. Ваня не мог бы точно сказать — хорошей она была или дурной. Ясно одно: была она бесконечно одинокой, тесной, тускло холодной. И цвет этой жизни был нелюбимый — темно-коричневый.

Что смерть, хотя и холодная, а живая, часто живеет самой жизни, Ваня в своем пригороде догадывался давно. Теперь подтвердилось.

В ухо вполз червь. «Может, с рынка, непроданный? А сюда переполз только». Ваня червя стерпел. Не до него было.

К губе прилип слизень. Потом, невдалеке, кто-то грубо и навзрыд рассмеялся. Снова все стихло.

Наконец все тот же гробовой насмешливый голос, явно перед кем-то выпендриваясь, гнусно прошелестел:

— Глубже, глубже его! Рот и кишки плотней землей забейте! Дерьмо собачье в ноздри воткните. Штумп, штымт! Дух скота — он, сказано, в землю уходит. Штумп, штымт! Ты,

Ваня, — быдло, скот! И жить тебе, кстати, осталось — одну минуту. А после — сразу неизъяснимым станешь.

— Это как это — неизъяснимым?

— А так. Ничего, никогда и никому — ты больше изъяснить не сможешь!

Иван с остервенением стал выкапываться дальше. Оборвал с губы слизня, шуганул могильного зверя...

Неразрушимая сила вошла вдруг в него: копай, Ваня, копай!

Выкопался он быстро. Встал, встряхнулся, повел одним плечом, другим. Шапки на голове не было. С правого плеча свисал драный кошачий хвост. Под ногами валялись мертвые птицы. Из ботинка торчала головка замерзшей ящерицы. На губах, на щеках — земля.

Страшная, земляная, никогда раньше не существовавшая в нем сила, вмерзшая пузырьками воздуха в кость, продолжала распирать Ваню.

Он ступил к дороге. Однако быстро сообразил: на Птичку поздно. Да и не для гнилой Птички сила в могиле скоплена!

Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил — через Москву, через центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окружной дороге.

Тут его что-то остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, женские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.

Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними — дымно-огненное подмосковно-московское небо.

Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала убежавшаяся за день Пашка. Ваня шел и сил у него прибавлялось и прибавлялось.

«Раз из могилы выкопался, так стало быть, и жизнь земную осилю!

Ехал на Птичку Иван Раскоряк.

Был Раскоряк — стал матрос Железняк!»

И вышел на небо Великий Жнец.

Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но давно приуроченные к такой жатве рати.

Серп заблистал над нищими пригородами и над богатой Москвой. И брызнула из-под серпа кровь, быстро текущая, остропахнувшая. И встрепенулись черви в могилах и гады в кроватях, но крови своей, из них навсегда убегаящей — не почуяли.

И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих тайно коснулся.

Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верхние Поля, ожила и шевельнулась серая, громадная, размерами сто метров на двести — так Ване показалось — птица. Не та, что, составившись из малых пичуг, кружила под сводами рынка, и не та, что сидела в запертой клетке. Другая!

Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда легко ускользящая, — она, сквозь ночь, мечтала о чем-то своем. И людям про те мечтания не сообщала.

Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние, отодвигая журчащее небо, мелкую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны скопища людских душ и комки птичьих шевелений — пошел, наливаясь неизъяснимой силой, домой, в Перловку.

Сзади вышагивала — готовая итти хоть до Холмогор, хоть до Северного полюса или до островерхого города Калининграда — белобрысая Пашка.

Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. За ним подскакивала и вновь опускалась на землю крупная, неуклюжая, едва различимая во тьме птица, может ушастая сова, может зря потревоженный филин.

Глеб Васильев,
Галина Никитина

О Тихоне ЧуриLINE, Ходасевиче и других

Как-то в феврале девяносто второго года мы сидели с Анастасией Ивановной у нее дома и разговор касался самых разнообразных тем. Коснулась беседа и Владислава Ходасевича¹. Цветаева сказала:

— Он интересный человек был и я рада, что он умер на руках у Берберовой². Я знала его вторую жену Анну Ивановну Чулкову³ и я их хорошо помню в Коктебеле в семнадцатом году, когда умирал Алеша⁴, в июне. Они были добры ко мне и я очень огорчилась, когда годы позднее узнала, что он уехал за границу с другой женой...

Да, в то время в Коктебеле были и Валентина Ходасевич⁵ с мужем, и художник Курдюмов⁶. Ходасевич много и хорошо

¹ Ходасевич Владимир Фелицианович (1886–1939), поэт, эссеист, литературовед. С 1932 г. в эмиграции.

² Берберова Нина Николаевна (1901–1993), третья жена В. Ф. Ходасевича, писательница, мемуарист. С 1932 г. в эмиграции.

³ Чулкова Анна Ивановна (1887–1964), сестра писателя Георгия Ивановича Чулкова (1879–1930).

⁴ Алеша — Алексей Маврикиевич Минц, сын Анастасии Ивановны во втором браке (1916–1917), похоронен на старом коктебельском кладбище.

⁵ Ходасевич Валентина Михайловна (1894–1974), дочь старшего брата поэта М. Ф. Ходасевича, художница. Иждивением Горького была спасена от петроградского голода 1918–1920 гг.

⁶ Курдюмов Владимир, художник. С женой Анной Николаевной и сыном Аликом приезжал в Коктебель в мае 1914 г.

читал, но он был зловатый такой..., не злой, а с внутренней нежностью. Я помню его стихи:

*Милые девушки, верьте или не верьте:
Сердце моё поёт только вас и весну.
Но вот уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.*

*Положивши голову на розовый локоть,
Дремлете вы, — а там — соловей
До зари не устанет щёлкать и цокать
О безвыходном трепете жизни своей.*

*Я бессонно брожу по земле меж вами,
Я незримо горю на лёгком огне,
Я сладчайшими вам расскажу словами
Про всё, что уж начало сниться мне¹.*

— А вот по запискам Старынкевич², бывшей в то же время в Коктебеле, известно, что язвительные и чеканные рассказы Ходасевича нравились Макс и Пра³, — говорит Глеб. — Однако в жизни, по ее словам, он был «невероятный трус и нытик» и панически боялся грозы. Из числа поэтов, которых вы знали, меня интересует Тихон Чурилин⁴. Одно стихотворе-

¹ Семь строк этого стихотворения написаны в 1912 г.; окончено 5 августа в 1916 г. в Коктебеле.

² Старынкевич Елизавета Ивановна — завсегдагай Коктебеля с 1917 года. Рукопись ее воспоминаний о Доме Поэта хранилась у филолога, профессора Мануйлова Виктора Андрониковича (1903—1987).

³ Макс и Пра — Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия Кириенко-Волошин, 1877—1932), поэт, художник. Его мать «Пра» (от «прародительницы») Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (урожд. Глазер, 1850—1923).

⁴ Чурилин Тихон Васильевич (1885—1946), поэт, друг Марины и Аси Цветаевых. Анастасия Ивановна посвятила ему эссе в сборнике «Неисчерпаемое» (М.: Отечество, 1992, с. 41).

Чурилин Тихон Васильевич родился 17 мая (ст. ст.) 1885 г. в г. Лебедяни Тамбовской губ. Род (по материнской линии) купцы из крестьян; русский, по отцовской линии — еврейство.

Учился в Москве в Коммерческом институте на экономическом отделении.

Самым важным событием в своей жизни Чурилин считает «Наш Октябрь, подполье в Крыму, переход на общественную работу (с 20 г.) и

ние в далекой моей юности меня поразило, даже не поразило, а пронзило! — Три дня я был физически болен, да и сейчас впечатление сильнейшее — «Кикапу», вы его знаете?

— Да, конечно знаю, хотите послушать?

*...Побрили Кикапу — последний раз,
Помыли Кикапу — последний раз,
С кровавою водою таз...*

— А знаете ли, что значит это слово, откуда пришло название?

— Нет, не знаю...

— Кикапу — это модный в начале века танец. Их было три самых известных — канкан¹, кикапу и матчиш. Канкан — это опереточный танец, еще от девяностых годов — Париж, Мулен-Руж², Тулуз-Лотрек³ и так далее. Матчиш — это, вероятно, венгерский танец, судя по названию:

.....
*И вот сегодня с утра
В душу врезал губы матчиш⁴...*

отказ от стихотворства», как эстетической самоцели — «стихов больше не пишу; работаю как литкритик, теоретик художественного материализма (слова) и, главное, по коммунистической культуре. Работал также для театра (пьесы, агит-памфлеты)...».

Писать начал серьезно с девятнадцати лет. Первое литературное выступление — стихотворение «Мотивы» в ежемесячном «Приложении к журналу “Нива” за июль 1907 г.»

Отдельные издания: «Весна после смерти» (стихи изд. «Альциона», М., 1915); «Льву — барс» (2-я книга стихов, Изд. «Лирень», М., 1918).

¹ Канкан — из стихотворения Маяковского «Следующий день» (Петроград 1916):

*Пока в крови вино
И мысль тонка.
Да так,
Чтоб каждая палочка в «и»
Просилась:
«Пусти в канкан!».*

² Мулен-Руж (Красная мельница) — известное парижское кабаре в районе Монмартра — место средоточия французской богемы.

³ Тулуз-Лотрек Анри (1864—1901), французский художник, писавший в стиле модерн сцены из жизни низов парижского общества.

⁴ Из трагедии «Владимир Маяковский», (1913 г.).

А про канкан — такая строчка:

*Писать, да так, чтоб каждая палочка в «и»
Просилась — пусти в канкан!*

Так у Маяковского. Хотел было сказать и про Кикапу из «Облака...» да, побоялся богохульства:

.....
*А вина такие расставим по столу
Чтоб, захотелось пройтись в кикапу
Хмурому Петру Апостолу...*

— А, причем — «уходят в двери»? — спросила Анастасия Ивановна.

— Потому, что я ошибочно прочел:

*...Но нет, уходят в двери
Елена, Ра и Мери...*

Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина¹ думает, что Мери — это Марина Ивановна.

— Но, нет, это уже было написано, когда мы встретились с ним в восемнадцатом году. А Маринины стихи, посвященные ему, вы помните? — спрашивает Анастасия Ивановна.

— Помню, — отвечает Глеб.

*Не сегодня — завтра растает снег.
Ты лежишь один под огромной шубой.
Пожалеть тебя, у тебя навек
Пересохла губы.
Тяжело ступаешь и трудно пьешь,
И торопится от тебя прохожий.
Не в таких ли пальцах садовый нож
Зажимал Рогожин?*

¹ Лещенко-Сухомлина Татьяна Ивановна (1903—1998), переводчица, мемуарист, певица. 1924—1935 г. живет за границей — журналистка при Колумбийском университете. Играет на сцене Нью-Йорского театра. В 1947 г. — арест, тюрьма, лагеря до 1954 года. Знакома с Анастасией Ивановной с 1984 г.

*А глаза, глаза на лице твоём —
Два обугленных прошлогодних круга!
Видно, отроком в невесёлый дом
Завела подруга.*

*Далеко — в ночи — по асфальту — трость,
Двери настезь — в ночь — под ударом ветра...
Заходи — гляди! — нежеланный гость
В мой покой пресветлый¹.*

— А нас поражали его стихи... — продолжает Анастасия Ивановна. — Болванская голова, стала все забывать — имена, людей... Особенно его военные стихи — я помню только: ...«Был убит их младший принц... — и дальше: ...И помчались оттуда, похоронив его».

Он был сумасшедший, но в этом сумасшествии сексуален, он был весь им пропитан. Даже когда говорил о других, в его пленительности была эта сила, и, не совсем приятная. Марина писала:

*... Ты лежишь один под огромной шубой
.....
И торопится от тебя прохожий...*

И, по-моему, больше Марининых стихов не было. Если не ошибаюсь, в шестнадцатом году я, помню, зашла к нему с Мироновым². Потом он женился на горбатой художнице Брониславе Иосифовне Каменской, или, как он называл ее — «Бронке». Она была старше его. Это было в двадцатых годах, ближе к тридцатым. Как-то в два часа ночи, он пришел ко мне, разбудив соседей, пришел в мою дальнюю комнату, и сказал: «Я гордо просижу на стуле до утра». На что я ему ответила: «Милый Тихон, я сейчас уложу вас спать».

А дело было в том, ему показалось, что его жена переглянулась с пожарником. Тогда я ему довольно жестко на это сказа-

¹ Это стихотворение было посвящено Тихону Чурилину (1916).

² Миронов Николай Николаевич (1893—1951), офицер — «девятый вал» молодой любви Анастасии Ивановны. В ее романе «AMOR» (М.: Современник, 1992) ему посвящены главы — 2-ая (часть II) и глава 5-я (часть VII).

ла: «Зачем она ему? Старше вас и горбатая?» В то же время он зачем-то нес мне и, верно растерял их на лестнице, потом мне на утро их передал сосед, — портрет Сталина и мой. Сосед был инженер, коммунист.

А стихи его про убитого немца на войне были потрясающе сложны...

— Анастасия Ивановна, а вы не помните, когда было написано стихотворение Марины — «Ты конвойный, а я — острожник»¹?

— В Москве, до того как она уехала.

— А Инна Лиснянская² связывает его с эмиграцией.

— Нет, нет, это было написано, возможно, Никодиму³, я не уверена... Никодим был единственным, кто держал ее привязанность долго. Потом — Осип Мандельштам — шестнадцатый год и Тихон Чурилин, тоже шестнадцатый год.

В каком-то близком году Маврикий Александрович⁴ часов в семь привел ко мне своего друга. Он был тогда у меня на Верхней Прудовой улице, как теперь она называется — не помню. Маврикий Александрович был некрасив, а Никодим — смуглый, длинный, черные беспощадные глаза, как помню — высокий лоб. Я сразу почувствовала, что на Марину он произведет впечатление. Мы посидели у меня часов до десяти и я подумала — почему бы нам не пойти к Марине? — это было близко. Она жила в Борисоглебском. Я ей позвонила и спросила ее: «Можно к тебе придти с Маврикием Александровичем и его другом?» И мы пошли.

¹ Стихотворение написано 25 июня 1916 году. Стихотворение 6-е из цикла «Стихи к Ахматовой».

² Лиснянская Инна Львовна (р. 1928), поэт. Публиковалась в неподцензурном альманахе «Метрополь». В знак протеста против исключения из Союза двух молодых прозаиков вышла из СП в 1980 г. Восстановлена в Союзе в 1987 г. Лауреат премии А. Солженицына, Лауреат Госпремии 1999 г.

³ Плущер-Сарно Никодим Акимович (1883—1945), инженер-химик. Друг Марины Цветаевой и адресат ее стихов.

⁴ Минц Маврикий Александрович (1886—1917), химик-технолог. Второй муж Анастасии Ивановны (1915). Похоронен в Москве на Еврейском кладбище, ныне уничтоженном.

Это была поразившая ее встреча. Под утро они пошли проводить меня. С этой ночи началась их дружба-любовь и длилась она — годы, чего с Мариной не бывало. Я думаю, что они могли быть написаны ему, да... конечно... наверное, ему...

*Не отстать тебе! Я — острожник,
Ты — конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.
Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!*

Анастасия Ивановна вспомнила, что Марина как-то сказала: «Жизнь всех родных и близких отдам за полчаса с ним».

— В общем, — продолжила Анастасия Ивановна, — это настоящий герой ее романа был. Очень сдержанный, очень молчаливый, какой-то переполненный собой.

Но, когда я вернулась в Москву в двадцать первом году, она сказала о нем как-то сверху — вниз, как о чем-то прошедшем, как говорила потом о Радзевиче¹. Она всю жизнь только и делала, что разлюбляла... А это чудное... — задумчиво, как бы только для себя, проговорила Анастасия Ивановна, — посвященное ему... Радзевичу, — «Поэма конца»... «Поэма горы»...

На этой фразе, произнесенной несколько утомленным голосом, воспоминания прекратились. Чувствовалось, что Анастасия Ивановна устала, но, на предложение отдохнуть не соглашалась, не желая, чтобы мы уходили...

¹ Радзевич Константин Брониславович (1895–1988), морской офицер. Герой поэм Марины Цветаевой «Поэма горы» (1924) и «Поэма конца» (1926). К. Б. Радзевич не имел специального художественного образования, однако был способным рисовальщиком и оставил после себя несколько известных портретов Марины Цветаевой.

о. Владимир Зелинский

Гегель и государство абсолютного субъекта

Гегель прожил много жизней в России, и последняя из них только что завершилась. В этой последней его жизни все, о чем Гегель мыслил, обрело наконец какое-то подобие действительности, согласованной с неким высшим разумом, притязавшим явить собой волю самой истории.

Кто не испытывает сегодня хотя бы мимолетной тоски по тому подобию разумности, при всей ее тесноте, корявости и отдельных, имеющих вот-вот быть исправленными, недостатках? Кто втайне не сожалеет, что то мироздание, в котором мы жили, неподвижное, как звезды над нами, и необоримое, как нравственный закон внутри нас, вдруг возьми да и тресни, и рассыпья как гнилая труха? И кто осмелится бросить камень в его свежедымящиеся развалины, зная, что камень наш только добавит энтропии и беспорядка к смятению умов в этой части человечества, вырвавшегося наконец на свободу, и решившего, по словам Достоевского, «по собственной глупой воле пожить»?

И потому, если я сегодня возвращаюсь к теме и рукописи, над которыми работал ровно двадцать лет назад, то делаю это не без некоторой ностальгии по тому развалившемуся по-гегелевски стройно разумному космосу, в котором так легко мыслилось и так подпольно, попутно и весело писалось, но так безнадежно и порой боязливо складывалось в стол.

Стол этот, уютное убежище диссидента и маргинала семидесятых годов, набитый рукописными темами и вариациями, сначала политическими, затем философскими, потом богословскими, тоже имел свою переменчивую судьбу. И до него не раз добирались профессионально снующие руки государства, извлекая на свет то, что автор не успевал припрятать или, напротив, прятал столь усердно, что припрятанное первым делом и попадало ему прямо в пасть, разинутую на всяческое дурномыслие.

Однако именно там, в самой пасти, Гегель с его Абсолютным Духом как раз и приходил неожиданно автору на помощь. Натыкаясь на какое-нибудь из его высказываний, эта пасть, не так давно украсившая себя человеческим лицом, и к тому же давно лишившаяся охотничьего азарта, тотчас теряла к автору свой специфический интерес. Ибо какую поживу могла она найти, скажем, во фразе из Предисловия к *Феноменологии Духа* о том, что «Дух становится предметом, ибо он и есть то движение, состоящее в том, что он становится для себя чем-то иным, то есть предметом своей самости...»¹? Видимо, поперхнувшись на Духе, обленившееся чудовище махало на неудобочитаемого автора рукой и потому и не торопилось глотать его вслед за проглоченными рукописями.

Между тем именно в этой и тысяче подобных гегелевских фраз можно найти вполне крамольное, философски безупречное описание всей системы, состоявшей, по сути, лишь из отражений своей идейной самости, своего идеологического в-себе-бытия. Мы, население, и были этими говорящими и передвигающимися предметами, в которых совершалось движение Мирового Духа, и где Дух, отчуждаясь от самого себя, ежедневно познавал себя в своем Ином, соединяясь с ним в окончательном синтезе.

Все предметы, одушевленные или просто предметы, служили инобытием некоторого Знания, опосредовавшего собой все, к чему оно прикасалось, все, что оно собой обнимало и в себе истолковывало.

¹ Гегель. Феноменология Духа, М.1959, с. 19.

Прикасалось же оно ко всему на свете, обнимало и истолковывало всю Вселенную. Трудно найти в истории более умозрительное общественное устройство, чьим знаменем был, как мы помним, лозунг о первичности материи и вторичности сознания. Но при этом то, что называлось «материей», находилось при этом в ведении верховного разума, творящего свою историю в процессе самопознания мира.

Однако о каком же разуме идет речь?

Государство, мыслившее абстрактно

Было бы наивно представлять себе государство, построенное на Разуме или Знании, в качестве его непосредственной материализации. Знание или, точнее, Со-знание — ноуменальная вещь, как говорит Сартр в *Критике диалектического разума*, оно стоит за горизонтом вещей и явлений и не встречается в нашем мире из плоти и глины. Но каждый из предметов, включенных в это государство и «опосредованных» им, содержит в себе «присутствие» этого Знания, служит его вестником и жилищем, он предельно абстрактен и ноуменален в своей телесной конкретности.

Для разъяснения этой простой мысли воспользуемся известным примером Гегеля, что показывает суть абстрактного мышления на примере рыночного скандала. Стоит какой-то покупательнице поругаться с торговкой, как та преподносит ей урок абстрактного мышления, понося ее на чем свет стоит. «Что? — кричит та. — Мои яйца тухлые?!... Ты мне смеешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне!» Все в этой покупательнице, поясняет Гегель, «от шляпки до чулок, с головы до пят, вместе с папашей, с остальной родней — она подводит исключительно под то преступление, что та нашла ее яйца тухлыми. Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц»¹.

¹ Гегель. Работы разных лет. т.1. М.1976, с. 393.

На протяжении семидесяти лет во всей печатной и устной продукции, издаваемой и извергаемой во всем пространстве нашей планеты, мировоззрение гегелевской торговли воспроизводилось вплоть до деталей. Это было пространство, управляемое и организуемое мышлением предельно абстрактным, где все на свете было окрашено в один цвет. Ленинская кухарка — правнучка торговли — научилась-таки управлять государством, сделав его «идейным».

Когда мы пытаемся анализировать эту идейно одноцветную систему, то первая же трудность, с которой мы сталкиваемся, заключается в самом ее наименовании. Сразу было ясно, что традиционные обозначения типа диктатуры, деспотии, демократии нового типа и прочее, никак не улавливают ее суть. Этот режим можно называть идеологическим, вслед за Аленом Безансоном¹, логократическим, вслед за Чеславом Милошем², или просто идеократией, однако все эти термины, хотя одним из них мы должны будем пользоваться, все же достаточно расплывчаты.

Мы рискуем заимствовать модель наименования такого режима у Гегеля, что безусловно рискованно, но ничуть не рискованней, чем объяснять суть абстрактного мышления, исходя из рыночной сцены с тухлыми яйцами.

Представим себе систему, в которой некой абстракции удалось целиком облечься в холодную плоть государства. Или вообразим ее в виде града, воздвигнутого из идейных кирпичиков-человечков или в образе кургана человеческих душ, знаменующего собой некое идейно-материализованное единство, и утверждающего себя в виде высшей общественной формации.

Впрочем, неважно, что там этот курган сам о себе утверждает. Сейчас мы заключаем в скобки все марксистское содержание государственной идеологии и оставляем лишь ее «интенцию», ее модель или ее дух, коль скоро мы хотим сохранить верность гегелевскому языку. Ибо если суть системы свести к изначально умозрительной точке, если заключить ее в не-

¹ A. Besançon. Les origines intellectuelles du leninisme. P. 1977.

² C. Milosz. La Pensee Captive. P. 1951.

кий «магический кристалл», сквозь который можно увидеть ее целиком, мы обнаружим ее в идее Сознания, отчуждающего и познающего себя в своих отчуждениях и отражениях.

Эта идея Духа, созидающего реальность из себя самого в процессе своего самопознания, конечно, сильно обмирщилась и поизносилась в реальной истории, особенно такой «пассионарной», как российская, но нисколько не потеряла своей изначальной потусторонности. От высочайшей хартии до любой газетной статьи, словно написанной гегелевской торговкой, Идея господствовала повсюду в своей непостижимой простоте и недостижимой абстракции, запредельной для зрения смертных.

В последние годы существования идеологического режима ни о чем не говорилось так часто, когда разговор был приватным, как о его, режима, пресловутой безидейности, о безнадёжном его цинизме и так далее. Но сама эта безидейность была не более, чем наивным или обыденным восприятием «инобытия» идеи, она только подчеркивала ту запредельную ее субстанцию, что могла обходиться без всяких идей. Идея-в-себе была предметно, содержательно «безидейной», но при этом в высшей степени опредмеченной. Она как раз и существовала в своей повседневной вещности и функциональности, вполне довольствуясь в качестве собственно идеологии фантастической своей ирреальностью.

Если кредо системы и не всегда проходило и опосредствовалось через, так сказать, отдельные индивиды, оно осуществлялось и отлично себя чувствовало во всех иных видах материи. Вся постройка идеологического режима опиралась на непрерывное превращение «убеждений» в слова, факты и цифры, она состояла в переводе запредельной ирреальности в самую земную, подчас неожиданную телесность. Так называемый утопизм системы утверждал себя прежде всего в делах и вещах, и в их конкретности заявлял о подлинном абстрактном своем бытии.

Так, утопию писали не только в статьях кремлевских мечтателей, но и в отчетных докладах, пятилетних планах, ордерах, протоколах, утопию строили в виде могучей империи, великих каналов, правительственных санаториев, иерар-

хических лестниц, ее производили в качестве ракет и товаров народного потребления, ею оказывали братскую помощь и ее принимали в помощь, ее превращали в стихи и в детские завтраки, ею кормили через зонд и ею морили голодом, ее собирали в урожаях, выплавляли в стали, ее носили на толстых усах и на потных лысинах, словом, — трудно придумать такую материю, в которую бы не облекали утопию, и такую сущность, которая не была бы у нее на посылках. Для всякого предмета и индивида она, выражаясь по-гегелевски, была его познанной и опосредованной реальностью.

Разве не принадлежало к этой реальности все, что вообще мыслимо и ощутимо? И не была ли утопия тем способом познания реальности, «с помощью которого овладевают абсолютным, при помощи которого его видят насквозь»¹?

Определение реальности: дядя и племянник

Идея или саморазворачивающийся из себя самого мысленный проект — есть то, что придает «разумность» или идейную субстанциональность любому «внутриутопическому» предмету. Эту субстанциональность предмет получает от хозяина всей предметности, то есть от разумно устроенного государства.

«Государство как действительность субстанциональной в о-ли, — говорит Гегель в *Философии права*, — которой (действительностью) оно обладает в возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. Это субстанциональное единство есть абсолютная, неподвижная самоцель, в которой свобода достигает наивысшего, подобающего ей права, так же как эта самоцель обладает наивысшей правотой в отношении единичного человека, наивысшей обязанностью которого является быть членом государства»².

Если мы включим сюда конкретно-историческое содержание самосознающей себя воли, то получим определение государства, основной субстанцией которого служит некая сум-

¹ Гегель. Феноменология Духа, с. 41.

² Гегель. Философия права. М-Л. 1934. С. 7, § 263.

ма общеобязательных верований, то есть идеология. Идеология становится непосредственной реальностью, данной нам в ощущении — перефразируем здесь ленинское определение материи, опосредующей собой бытие и развитие всех вещей.

Суть этой реальности в ее диалектике с бульдожьей грубоватостью (правда, извинившись за грубость) определяет Бертран Рассел в своей *Истории западной философии*. Вот как он излагает диалектику Гегеля: «Реальность есть дядя». Это — тезис.

Но из существования дяди следует существование племянника. Поскольку не существует ничего реального, кроме абсолюта, а мы теперь ручаемся за существование племянника, мы должны заключить: Абсолют есть племянник. Это антитезис. Но существует такое же возражение против этого, как и против того, что абсолют — это дядя. Следовательно, мы приходим к выводу, что абсолют — это целое, состоящее из дяди и племянника. Это синтез. Но этот синтез еще не удовлетворителен, потому что человек может быть дядей, только если он имеет брата или сестру, которые являются родителями племянника. Считается, что таким способом одной лишь силой логики мы можем прийти от любого предлагаемого предиката абсолюта к конечному выводу диалектики, который называется «Абсолютной идеей»¹.

Рассел говорит нам тем самым: не так или не всегда важно, что вкладывается в понятие «абсолютной идеи» у самого Гегеля, важно прежде всего то, что она, идея, охватывает собой совокупность или абсолютность логических, в нашем случае, идеологических, связей. Высшая реальность идеологического государства заключена в опосредствованности связей «идеи». Дядя, племянник, брат и сестра получают свое качество, приобретают свое «в-себе-бытие» от идеи родства. В государстве утопии или называйте его, как хотите, всякое человеческое существование обретает свой онтологический статус, свое «в-себе-бытие» от своего родства с идеей, той верховной, абсолютной, всеобъемлющей Реальностью, которая мо-

¹ Б. Рассел. История западной философии. N. Y., 1981. С. 748.

жет быть по своему содержанию не «идейной» вовсе, но должна функционировать в качестве таковой.

Продолжим расселовский пример: пусть абсолют есть семья. Если вашей наивысшей обязанностью является членство в государстве, вы должны стать идейным родственником той реальности, которая служит выражением его самосознающей, субстанциональной воли, то есть, идеологии. Вы не можете отказаться от этого членства, ибо оно — и это самое существенное — приписывается вам как собственная ваша сущность, которая совпадает с идейной субстанцией государства. Если вы притязаете на обладание иной, «несемейной», сущностью, оно отчуждается от вас, тем самым, отчуждая от вас и вашу работу, ваш хлеб, место в обществе, иногда и саму жизнь. Государство принимает вас только в качестве родного племянника того дяди, который есть коллективное «Я», гипостазированное как Учение — Дух, Идея и тому подобное. Дядя выполняет роль идеологического посредника между вами и государством как миром, в котором вы обитаете.

Подлинным «Я» обладает лишь дядя-государство, ваше маленькое, случайное, подверженное заблуждениям «я» существует лишь постольку, поскольку оно отражает собой государственное, устойчивое, большое. Ибо коль скоро вы сочли для себя разумным родиться на территории дяди и в его семье, вы неизбежно принимаете как должное, что он записывает вас к себе в близкую идейную родню, и только в качестве его идейного родственника вы начинаете как для себя, так и для него, существовать. Есть тождество территории и родства, относительности вашего краткого существования и того Абсолюта, из которого оно проистекает. Если вы тем или иным способом отрекаетесь от этого родства — или всего лишь оказываетесь заподозренным в отречении тайном, вы ставите (вас ставят) под вопрос ваше пребывание на законной территории дяди, то есть само ваше гражданское или физическое бытие.

Всего лишь менее двадцати лет назад — возможно, теперь это кажется каким-то средневековьем! — была торжествен-

но принята последняя Советская Конституция, где гегелевская «субстанциональная воля» была определена на ленинском, романтическом, правда, уже застоявшемся языке, в качестве воли рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, воли всех наций и народностей страны. Всеобщность самосознания такой воли выражает собой Партия.

Но сама партия легитимна лишь как тело идеологии. Если мы переведем это определение на расселовский язык, мы обьявим крестьянство, рабочий класс, интеллигенцию, и все народы племянниками того абсолюта, который облечен в партию и воплощает собой идею. И потому неудивительно, что свобода племянников достигает наивысшего расцвета только в субстанциональном, семейном единстве с дядей.

«Не надо трех слов»

«Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его первой главы, — говорит Ленин, — не проштудировав и не поняв всей Логике Гегеля»¹., ибо «в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, все о больше материализма. «Противоречиво, но факт»².

Доверимся факту. Заглянем на минуту в ленинские штудии, в его *Философские тетради*, когда они были лишь черновиком мышления, его вполне интимным дневником, ведомым лишь для себя, для уяснения собственной мысли. Ленин засел за философию, чтобы разобраться в ней, но он был не из тех учеников, что способны долго внимать другому, будь он самим Гегелем.

Едва начав свою учебу, он тотчас усаживает учителя за парту и принимается не только лупить его линейкой по голове, но и производить над его мыслью хирургическую операцию, извлекая из-под идеалистических наростов то, что должно быть его материалистическим плодом. Гегель здесь, как известно, рождается заново, чтобы быть поставленным с головы на ноги, и стоять рядом с Лениным, то есть с ним проделыва-

¹ Цит по изд. Гегель. Сочинения, том V. М., 1937, с. V.

² Ленин. В. И. Соч. т. 38, с. 227.

ется та работа, которая была оставлена Марксом и недоделана Энгельсом, поскольку логика их научной мысли в их зрелый период, не требовала исследования себя самой.

Суть этого переворачивания, как мы помним, заключается в том, что там, где Гегель видел инобытие диалектически развивающейся Идеи, постигаемой истинным философским мышлением и тем самым этой Идеей становящимся, Ленин видит объективное развитие самого материального мира, правильно отражаемого диалектическим мышлением философа, активно осуществляющего путем революционно-диалектической практики имманентный, действующий в этом мышлении, закон истории. «Гегель гениально угадал диалектику вещей (явлений мира, природы) в диалектике понятий... — так читает Логику Ленин. — Именно угадал не больше»¹.

Предмет логики, по Гегелю, не вещи, а суть, познание вещей. Предмет диалектики по Ленину — движение или логика самих вещей, отражаемых теорией познания. Впрочем, «не надо трех слов», отмечает он, то есть не нужно никакой диалектики вещей отдельно от их логики, не зависимой от теории познания, «это одно и то же», ибо «законы логики суть отражения объективного в субъективном сознании человека»².

В этом сворачивании трех понятий в одно, в сплаве мира как такового с видением мира уже заложено метафизическое — с виду ленинское, но изначально гегельянское! — и при благоприятных марксистских условиях легко прорастающее зерно идеологического режима. По Энгельсу: «Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой той факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собою»³.

Если Хайдеггер мог говорить, что атомная бомба впервые взорвалась уже в мышлении Гераклита и Парменида, то путем тех же рискованных аналогий, хотя и не забираясь так далеко,

¹ Цит. по изд. Гегель, Сочинения, т. VI, М.1939, с. XXXIII.

² Ленин В. И. Соч. т. 38, с. 174.

³ Ф. Энгельс. Диалектика природы, М. 1955, с. 213.

можно предположить, что в этом «не надо трех слов», в этом абсолютном господстве гносеологического солипсизма или спонтанном, «волевым» сочленении субъекта и объекта, столь притиснутых друг к другу, что субъект перестает отдавать себе отчет в границах своего «я» и воображает себя самой воплощенной исторической необходимостью, и даже самой диалектикой природы, в этом неотрефлексированном доверии к анонимно абсолютной объективности собственного мышления, в свернутом виде заключен уже весь ГУЛлаг. Или, иными словами, за мистерией тождества, извлеченного Марксом-Энгельсом из умозрений и примененного Лениным к истории, спрятаны «исток и тайна» тотальной идейной власти.

Впрочем, в реальной истории в отправлении этой власти сохраняется вечная двусмысленность, обернутая в игру и в загадку. В обществе, живущем под идейной властью, с одной стороны, неизбежно исчезают идеи, которые принимаются всерьез, ибо здесь функционируют лишь заранее заготовленные речи и реплики, здесь лежит готовый и завизированный сценарий, что волей и неволей разыгрывается актерами; а с другой, нет никакой власти, которой бы обладали индивидуумы, оперирующие идеями. Они могут быть лишь стражниками, жрецами, уполномоченными по идейному распоряжению людьми, но никак не хозяевами сущностей. Они суть служители магического культа, который существует сам по себе, и способен обойтись без любого из них.

В обществе тотальной власти очень нелегко добраться до субъекта этой власти, ибо на какой бы высокой ее ступени мы не останавливались, каждая форма господства выростала из другой, каждая ступень была делегирована или, скажем погегелевски, опосредствована иной и служила ее отражением.

Но где находился сам источник этой власти? В самой идеологии, то есть в том тексте реплик, речей и жестов, записанных до нас и без нас и делающих нас неотличимыми друг от друга? «Мы утверждаем, — говорит Луи Альтюссер, — что структура всякой идеологии, превращающей индивидов в субъекты именем Субъекта Универсального и Абсолютного, зеркальна и зеркальна вдвойне: зеркальное удво-

ение конститутивно для идеологии и обеспечивает ее функционирование.

Это означает, что всякая идеология центрирована, что Абсолютный Субъект занимает уникальное место в Центре и превращает бесконечное число окружающих его индивидов в субъекты двойной зеркальной взаимосвязи, при которой идеология подчиняет субъектов Субъекту, предоставляя им в Субъекте — в коем каждый может созерцать собственный образ (настоящий и будущий) — гарантию, что речь идет о них и о Нем, что все происходит по семейному¹, — здесь, добавим от себя, мигом вспоминается расселовский дядя с идейно родными племянниками.

Суть ленинского вклада в философию заключается, на наш взгляд, в закреплении этого зеркального удвоения субъекта в объекте, удвоения столь удавшегося, что познающий субъект перестает отличать себя от Субъекта Абсолютного, а этот последний диалектически сливается с объектом в его имманентной логике, то есть, с познаваемой и изменяемой действительностью. И такого удвоения он не мог бы достичь, не пройдя школу Гегеля, не получив в руки те спекулятивные инструменты, коими он бессознательно воспользовался.

Гегель строит свою философию духа как науку о сознании, «которое стремится к тому, чтобы это свое явление сделать тождественным со своей сущностью, поднять достоверность самого себя до истины»², Ленин принимает истину уже готовой, изначально достоверной в сознании, честно и без обмана отражающем объективное развитие вещей. Достоверность истины дается уже в ленинском определении материи «как философской категории для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его»³, определении, представляющем собой, если чуть подумать, плод изумительной самомистификации, коль скоро в сущности в него можно вложить все, что вы хотите вложить в «ощущения человека».

¹ L. Althusser. *Ideologie et appareils ideologiques d'Etat*, Pensee, P. 1970.

² Ленин. В. И. Соч. Т. 14, с. 117.

³ Гегель. *Философия Духа*. М. С. 205.

Материя есть все, что существует и что человек отражает, копирует, фотографирует своими ощущениями. Отсюда следует знаменитая теория отражения, которая также извлечена и перелицована из *Науки Логики*, ибо она, теория, служит эрзацем и упрощением тонкого диалектического процесса освоения разумом познаваемого им предмета.

В ленинском определении материи обратим внимание на слова «дана человеку». Кто есть в данном случае «человек»? Он всеобщ как понятис и безлик как толпа и вместе с тем уже вторичен, ибо произведен от своего места в историческом процессе. Он есть тот познающий субъект, что должен быть социально поставлен в условия, что делают возможным истинное, согласное с логикой самих вещей познание.

Здесь уже брезжит облик того Абсолютного Субъекта, в котором скрыто тождество познающего и познаваемого. Классовое Сознание Ленина никогда, ни за что на свете о себе не скажет: Абсолютный Субъект — это я, мир есть мое представление или история есть объект действия моей воли, то есть никогда не признается в том, что и было на самом деле.

Нет, личное, мое, эмпирическое, ленинское, персонально скромное «я» (коему, кроме власти над вселенной, лично для себя ничего не надо) растворяется во всеобщем Классовом, Материалистическом Сознании целиком и без всякого остатка. Его смирение заходит так далеко, что оно как бы жертвует своим «я», перестает ощущать его, а ощущает вместо него только некий Неумолимый Ход, пролагающий свою дорогу в его марксистско-ленинской мысли, в его историческом действии.

Но именно тогда, когда исчезает наше личностное «я», когда познание мира перестает быть нашим познанием и становится самопознанием мира в нас, философский Субъект начинает жить собственной, никак не зависящей от нас жизнью — и здесь мы чувствуем гегелевскую школу — там-то оно забирает себе такие права, какие и не снились прежним наивным субъективным германским идеалистам.

Радикальный материализм служит своего рода «покрывалом Майи» для тотального спиритуализма, столь же агрессивного, сколь и анонимного.

Именно идея слияния внешнего мира с познающим его «я», идея, выпестованная спекулятивной мыслью после Декарта, подхваченная и гениально развитая Гегелем, была поставлена по-настоящему на ноги Лениным и осуществлена в основанном им строе.

Советский режим — есть не что иное, как идеальная общественная модель идеи тождества, тождества государства (как мироздания) и каждого из его подданных, тождества территории и текста, как скажет затем Андре Глюксман¹.

Разумеется, торжество этой идеи было тем более полным, чем более это тождество было безликим и безглазым, и даже не только незрячим в отношении своей природы, но и слепым принципиально, яростно отрицающим всякий намек на подлинную свою природу.

Но когда Энгельс, скажем, в знаменитой цитате определяет диалектическую философию как простое отражение общественных процессов в мыслящем мозгу², он лишь подтверждает: объект есть не что иное, как самопроекция себя субъекта, не ведающего иной реальности, кроме самого себя.

Идеологический режим и есть зеркальное удвоение этого проецирующего себя на общественные процессы субъекта, заменяющего собой всякого субъекта эмпирического, будь то целое общество или отдельный индивид. До сих пор философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы сам мир объяснил себя моей головой. Еще более важное дело состоит в том, чтобы мое объяснение мира стало моим государством, которое мыслит моим мозгом и учреждает себя силой моей (в смысле партийной и пролетарской) революционной практики.

Превращения Духа

Если нельзя понять *Капитала* без *Логики*, то в силу того же поворота мысли нельзя понять, вполне ощутить вкус и за-

¹ A. Glucksman. *Maitres penseurs*. P. 1977.

² Ф. Энгельс. Л. Фейербах и конец немецкой классической философии.

пах идеологического режима, в особенности на начальном его этапе, не подышав перед тем в атмосфере *Феноменологии Духа*. Ленинская история — это прежде всего познание, самораскрывающееся через практику и растворяющееся в ней. «Движение, направленное к тому, чтобы раскрылась форма знания Духа о себе, есть, работа, которую он осуществляет как действительную историю»¹.

Такая история может начаться только тогда, когда Дух забудет о себе, когда перехитрив самого себя, он со спекулятивных высот, бросится вниз, сольется с массами и, овладев ими, станет госаппаратом, тайной полицией, крышей над головой, пищей, временем, сном. Он потеряет свою идентичность, забудет свое имя, утратит царственное право называться Духом, его будет трясти от бешенства при одном упоминании об Абсолюте как раз именно тогда, когда он им, собственно, и станет в лице абсолютной — абсолютной не в житейском только, но и в метафизическом смысле — власти.

«Если вы хотите действовать в мире, — скажет позднее Ренан, — ваше собственное «я» должно умереть». Умереть в качестве Мирового Духа, чтобы вновь родиться неузнанным в качестве Классового Сознания, чтобы действовать затем эффективнее в роли ноуменальной Диктатуры Пролетариата, чтобы сморщиться затем до сильно неказистой, но вполне реально функционирующей фигуры Кремлевского Горца. Гегелевский Дух, прочитанный материалистически, пройдя экономическую школу Маркса и катехизацию у Энгельса, отчуждает себя в качестве Орудия или даже Демиурга Истории у Ленина, а затем начинается череда таких отчуждений, что и Ленину не могли присниться.

Разумеется, если бы сам Ленин слышал это, он мог ответить своим знаменитым дробным заливистым смехом с хрипотцой. Классовое сознание — демиург истории? Архичушь, ахинея, выдуманная дипломированными лакеями поповщины! Слова Гегеля «в логике идея становится созидательницей истории» Ленин так заливисто и комментирует в сво-

¹ Гегель. Феноменология Духа, М. 1959, с. 420.

их *Тетрадах*: «!! Ха-ха!»¹. Чтобы мифологема удалась, ей надо освободиться от малейшего спекулятивного завитка, очистить себя от всякой зауми, опроститься до самой наглядной, подкупающей простотой достоверности. В этом смысле весьма поучителен наметившийся конфликт Ленина и молодого Лукача, тоже попытавшегося было «гениально угадать» Ленина с помощью инструментов гегелевской логики.

В своей книге *История и Классовое Сознание* (1923) Дьердь Лукач, стремившийся теоретически «додумать» революционную практику Ленина, возвысив ее до категорий Истинного или Классового Сознания, которое сверху — из мозга партии — налагает себя на диффузное историческое сознание пролетариата.

Но когда материализм истории «реконвертируется» в гегелевские термины Истинного Сознания — в противоположность Ложному Сознанию буржуазной идеологии, разоблаченному Марксом, самому этому Сознанию сразу становится ясно, что его псевдоним раскрыт, и Лукач, изо всех сил старавшийся по-настоящему «объяснить» и возвысить Ленина, получает от официальных, еще более верных ленинцев, достойный и твердый отпор.

И чтобы у нас никогда не возникло искушения путать Классовое Сознание с каким-то Духом, а объект с субъектом, чтобы заранее оградить нас от этой поповщины, ахинеи и ереси, Ленин повсюду — на каждой странице своего *Материализма и Эмпириокритицизма* — выставляет заградительный барьер, того, что затем станет называться «основным вопросом философии», и о который потом еще долго — лет семьдесят — будут разбивать собачьи идеалистические головы.

Сегодня трудно понять, как это целая эпоха столь долго могла притворяться обманутой столь примитивным приемом, как будто наша присяга на верность первичности материи, повторяемая как заклинание, что-то меняет в реальной, философской сути дела. Ибо когда материя ленинской головой определяет себя в качестве «объективной реальности, данной нам в ощущении», весь мир, согласно знаменитой теории отраже-

¹ Цит. по изд. Гегель. Сочинения, т. VI, М. 1939, с. XIII.

ния, столь объективно умещается в моей голове, что практически стирается грань между моей головой и реальностью вокруг головы, так что они легко могут меняться местами, как две ипостаси «для-себя-бытия» все того же гегелевского Духа.

Политическим инстинктом — не отвлеченным разумом — Ленин «гениально угадал» Гегеля, что, отрицая себя в качестве Духа и Субъекта, полнее, тотальнее реализует себя в диалектическом материализме. «Когда Гегель, — пишет он, — старается — иногда даже: тщится и пыжится — подвести целесообразную деятельность человека под категории логики..., то это не только натяжка, не только игра, тут есть очень глубокое содержание, чисто материалистическое. Надо перевернуть: практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом»¹.

Однако когда Классовое Сознание прокламирует и утверждает себя в качестве подлиннейшего, научнейшего и вместе с тем партийнейшего отражения действительности, то есть, аксиомы, то грань между непримиримым материализмом и тотальным спиритуализмом постулируется лишь неким догматическим суждением априори типа того же сермяжно нехитрого «основного вопроса», охраняющего, по сути, лишь анонимное присутствие гегелевского Мирового Духа, осуществляющего себя в своем диалектико-революционном развитии действительности.

Правда, здесь вновь возникает другой, побочный вопрос: а в чьей, собственно, голове помещается это сознание, через которое проходит ось мирового развития? У Гегеля ненавязчиво, но достаточно ясно предлагается решение, что Дух обитает в берлинской квартире г-на ординарного профессора, хотя нигде, насколько я помню, не утверждается: «Der Weltgeist ist, eigentlich, Ich»².

¹ В. И. Ленин. Соч. т. 38. С. 181—182.

² «Начало осуществления абсолютной идеи, говорит Мартин Бубер, — он усматривал в собственной эпохе и собственной философии, так что диалектическое движение идеи во времени, должно было, судя по всему, идти к концу». М. Бубер, Два типа веры, Проблема человека, стр.179.

В ленинской системе, как мы говорили, эмпирическое жилище Классового Сознания еще более затушевывается; нигде не говорится: история истинно познает себя только во мне, или: мозг Партии уместается в моей черепной коробке, воля Истории творится в моем рабочем кабинете, но и нигде прямо как бы явно и не оспаривается такое притязание.

Место жительства Истинного Сознания как бы подразумевается само собой, оставаясь, однако, неуточненным. Оно навязывает себя реальности — а реальность в данном случае шестая часть планеты со всем ее человеческим содержанием, принимая себя за разум, саморазвитие, диалектику этой реальности, никогда не выдавая своего «я». Оно утверждает, что рациональность мира осуществляется в моей исторической воле и практике, но осуществляется так, что всякое индивидуальное «я» растворяется в ней быстрее, чем в царской водке.

Так, воля Ленина к власти никогда не была персональной, нищенской волей, она была волей самой истории, выражающей себя в Классовой Борьбе и Диктатуре Пролетариата, и таковой им и осознавалась и себя осуществляла. Всякое маленькое индивидуальное «я» исчезало в жерле Классового Сознания (или одного из его псевдонимов), чтобы дать место тому громадному, всеобъемлющему «Я» Абсолютного Субъекта Истории или одной из идеологических, материалистических его масок, что было тем более объективно действенным, чем более было субъективно безликим.

В этом слепом, тотальном, всепоглощающем тождестве субъекта и объекта, тождестве, над которым веками билась европейская мысль, в этом удавшемся наконец совпадении познания с познаваемым в себе, Мировой Дух осуществил сокровенный философский акт своего самопознания, анонимного узнавания своей сущности, совершив при этом невиданный в истории мысли акт автопародии и саморастоптания.

В том, что это карнавальное самопознание наконец удалось, не нам обязательно искать в несказанной гениальности диалектического материалиста и философа Ленина, превзо-

шедшего умозрительными способностями всех Шеллингов и Гегелей, скорее напротив, оно поразительно удалось как раз благодаря отсутствию у него философской рефлексии о собственном методе мышления.

Субъект не ведает себя в качестве субъекта и мыслит о себе так, как если бы он был объектом — историей и природой, мировым развитием, осознающей себя борьбой классов, тем, *что делать*, а чего делать нельзя и тому прочее и только благодаря своей «наивности» ему удастся тот самообман, который был бы немислим у Гегеля, но который только и мог стать орудием, перевернувшим историю.

Ленин читает *Науку Логики* с восхищением, когда находит в ней гениально угаданную «диалектику вещей (явлений, мира, природы) в диалектике понятий», и с неконтролируемой яростью, когда наталкивается на все идеалистические и религиозные экскурсы Гегеля. Но не прячется ли в этой ярости тот самый хитрый, лукавый дух, что, то и дело клятвенно зывая к своему основному вопросу, на самом деле ревниво стережет собственную анонимность, или, как бы мы сказали погегелевски, свою «снятость».

У Ленина исчезает абстракция идеального Субъекта, исчезает гипостазированное Понятие, охватывающее собой объективные процессы в мире и субъективное человеческое мышление о них, но исчезает именно ради захвата безмерной (сначала лишь умозрительной) власти над миром, осуществляемой неузнанно и безлико. У него законы логики становятся отражением объективного в сознании человека, уже предопределенного исторической практикой к верному познанию.

Материалистическое прочтение Гегеля есть систематическое устранение субъекта, идеальным образом преодолевающего в себе объективность и отчужденность мира, отождествляющего его с самим собой.

В ленинской системе это отождествление не достигается с помощью диалектической логики, оно уже изначально дано, коль скоро всеобъемлющий объект-мир существует как бы совсем без субъекта, его познающего, коль скоро суть этого познания сводится к созданию лишь субъективного отпечат-

ка (отражения) в человеческой голове, материально включенной в этот мир, то есть к воспроизведению одним более сложным фрагментом мира более простого его фрагмента.

Именно поэтому логическое тождество субъекта и объекта отрицается диалектическим материализмом, что оно уже присутствует априори, в виде гносеологического упразднения субъекта в Абсолютном Субъекте Истинного (Классового, Партийного, Ленинского) Сознания.

Философия Ленина, коль скоро она существует, представляет собой самопознание мира, которое в отличие от гегелевского, совершается самим миром, без идеалистического субъекта, приносящего в это познание свои собственные буржуазные галлюцинации.

Система Абсолютного Субъекта

Тот же процесс, который происходил на умозрительном уровне теории познания, самым грубым и наглядным образом осуществляет себя в истории. «Знание-сила» истории изменяет ее и ложится в основу идеологического государства. Субъект познания настолько отождествляет себя с историческим процессом, что уже не замечает своего насилия над ней, хотя и создает громадный аппарат такого насилия.

Это насилие-аппарат, собственно, совпадает с самим мировым процессом. Оно осуществляется всегда, независимо от того, работает ли в данный момент или отдыхает гильотина. Подобно тому, как ленинский разум материалистический, спонтанно следуя гегелевскому, считал отражение в себе материального развития вещей диалектикой, логикой и теорией познания, взятых вместе, так ленинский разум исторический полагал свою практику, слитую с партией, волей самого мирового развития. Насилие становится даже не повивальной бабкой истории, а самой историей; оно не помогает родиться чему-то новому, но само есть результат родов.

Не следует понимать его только буквально, физически, но и метафизически, как насилие отвлеченного разума над действительностью, когда этот самый разум перестает отличать

себя от нее. Ленин, следуя Марксу, и мысля по Гегелю, создал режим идеологического солипсизма, режим, который видит мир как свое отражение, как фабрику Мирового Духа, которая постоянно воспроизводит себя в познании, а познавая мир, силой отождествляет себя с ним. На этой фабрике существует не только развитая и поддерживаемая корпорация философов, но и всякий ее цех в конечном счете производит идеологический продукт, то есть из себя проецируемый образ отражения мира. Или согласный с ним способ изменения мира. Или вытекающий из него тип правления миром. Не надо трех слов.

Идеологическое государство приводится в движение насильником-разумом, который создает имманентную себе вселенную. Здесь облакается в дело «язык пространства, сжатого до точки» (Мандельштам), находящейся в мозговых извилинах Первого Мыслителя-Большевика Планеты. Это спародированный — но не искаженный! — гегелевский абсолют, развернутый и разыгрываемый в виде бесконечного и кровавого балагана мысли, приводящей себя в согласие с действительностью. Все, что находится на территории этого действия имеет своим центром мысль или идею; так уголья, города, машины, людей и произведенные ими продукты Абсолютный Субъект познает, как свое другое и реализует в себе.

Исторически это выражается в очевидном — кроме разве что для идейных, музейных ленинцев — и вполне банальном тождестве между всеми формами и символами власти (советами, диктатурой пролетариата и ленинским ЦК, между властью законодательной, исполнительной и судебной и тому подобное), ибо в истинном (государственном, пролетарском, партийном) сознании все они суть одно и то же. Ленин сумел завести семьдесят лет работавший механизм идеологического монизма, где все исходило из некоего анонимно-запредельного Субъекта (партии-необходимости-генсека) что, «опосредуясь» в материи («созидательном труде» и тому прочее) в конечном счете возвращалось к нему.

Сознание этого Субъекта — каждый вправе заменить это идеалистическое слово любым из его материалистиче-

ских псевдонимов — пронизывало и наполняло собой все. В государстве-сознании, то есть в единственно видимом и воспринимаемом мире, не остается такой вещи, которую можно было бы назвать «вещью в себе» («пустая абстракция», по слову Владимира Ильича), то есть вещь неапробированной, непознанной, неразумной. Даже религия и та, несмотря на всю свою очевидную историческую неразумность, допущена, как иллюстрация «свободы совести», то есть опять-таки опосредствована тем же Сознанием.

Разум зеркально отражается в инобытии всякой души и восходит от нее к своему в-себе-бытию в «душе-семье-государстве». Самоосуществление этого вселенского сознания и есть подлинное существование мира. Познавая мир, оно сообщает ему единственную мыслимую реальность. При этом в себе же самом — как, разумеется, и в реальности, создаваемой им по собственному образу и подобию, — оно несет критерий объективной истинности своего познания.

Если проследить за истоками идеологической монополии, ее можно найти и в лейбницевской монадологии и во всем последующем развитии немецкой классической мысли. Однако только у Гегеля мы впервые находим не только интуиции и догадки, но и развернутый чертеж-набросок формы тотальной власти, которая была затем осуществлена. В лице Гегеля в последний раз и на головокружительной высоте выразила себя вечная и младенческая истина метафизики: «Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует» (Парменид).

Ну, а в «долине сени смертной», в нашей низине та же истина повела нас в клетку кошмарного солипсизма, абсолютного тождества меня и государства, спаянных, переплавленных в фигуре Абсолютного Субъекта, идеократического посредника, забывшего о своем умозрительном родстве.

Шокируя ученый мир, я должен признаться, что перешагнув через Ленина, философская эта система достигла своего совершенства только в сталинской модели творения. Сталин был своего рода живым фетишем идеократического посредника, обезьяной того Духа, благодаря которому все смыслы, все личности, все предметы и факты могли называться пле-

мянниками одного дяди и были вправе существовать. Заметим, как только не стало живого, напитанного кровью идола, идеократический режим стал медленно, но с почти биологической фатальностью распадаться.

В этом образе все существующее, все освоенное познанием, собиралось в некое однородное, онтологическое единство. Единство было было вполне историческим персонажем, обитало отчасти в Кремле, отчасти в тысяче своих бюстов, оно называлось иногда «Лениным сегодня» (Барбюс), хотя могло вполне носить и титул Гегеля эпохи построения социализма в отдельно взятой стране. Ибо чуть более четырех десятилетий назад все виды отвлеченного познания, любые науки — математика, химия, почвоведение и так далее — должны были получать санкцию на само бытие свое от художочной брошюрки *Марксизм и вопросы языкознания*, где за подписью «И. Сталин» можно было угадать последнее превращение абсолютного, себя самого перехитрившего Духа, наконец овладевшего всей реальностью и приведшего ее в окончательную систему.

Назовем это пародией, карнавалом? Пусть так, но карнавальное действие в данном случае выразило тайну первоначального замысла, что, видоизменяясь внешне, сохранил свою суть. «Марксизм образует систему координат, — писал уже после смерти Сталина такой ревностный и вдумчивый марксист (ныне столь же ревностный и вдумчивый мусульманин) Роже Гароди, — которая только одна позволяет рассматривать и определять мышление в какой угодно сфере, от политической экономии до физики, от истории до морали»¹.

Какой же холодный, чисто гегелевский восторг должен был охватывать нас при взгляде на эту систему. И таковым — повсюду-проникающим-знанием — марксизм остается и до сего дня, пусть и с меньшей уверенностью в себе. Уже Ленин, как мы помним, успел заглянуть в неисчерпаемость электрона, и оставаясь в той же системе координат, было легко узнать,

¹ Цит. по J.-P.Sartre. Critique de la raison dialectique, P. 1961. p. 30.

как повлияла колониальная система на систему общественно-кредита, или что на самом деле хотел сказать Вагнер своими операми, Шиллер — своей поэзией, Гегель — объективным идеализмом, а Киркегор — разрывом с Региной Ольсен.

Все на свете состояло из тех же ленинских проницаемых электронов, и марксистская, а по сути, крипто-гегелевская система координат совпадала с границами космоса и души.

В эти границы предполагалось заключить все имеющееся пространство и время, охваченное единым законом, от коего ни убежит ни одна трепещущая клетка, не уклонится на чужую орбиту ни одна звезда.

Свет, падавший из кремлевского окошка, освещал творение, вплоть до самых тайных его уголков. Последние вещи, укрывшиеся в-себе, как и люди, где-то в себе спрятавшиеся, отправлялись в изгнание. Они лишались идейного, а затем и физического бытия, их отправляли в царство теней, на иную половину действительности.

Сознание-подполье и действительность-геенна

Раздвоение действительности уже заключено в этом тождестве идеологического субъекта со всеми своими подданными-двойниками, поскольку тождество не бывает полным. Фантому никогда не удастся слиться со всей подвластной ему реальностью, или, говоря философски, познать и освоить ее, и он ее, неосвоенную реальность, энергично выталкивает. В идеологическом государстве есть действительность, обязательная к употреблению, и есть действительность, предназначенная на выброс, на вытеснение.

Это так называемая поддействительность, внизуреальность, выгребная яма для метафизических отбросов, что в одержимо идейном, манихейском мире становится свалкой человеческой.

Это, иными словами, и есть Архипелаг ГУЛаг. ГУЛаг — не одно лишь систематическое и разветвленное насилие, не только разросшийся тюремно-лагерный бегемот, — это реальность-

призрак, оставшаяся за пределами абсолюта. Это земля пасынков, где больше нет племянников и кончаются права дяди, где реальность перестает быть разумной, а необходимость исторической, где действительность становится подвалом, куда заталкивается все то, что выбрасывается из действительности-храма.

Подвал был учрежден в государстве, но подвал был учрежден и в каждой голове, даже самой идеологически ангажированной и закаленной. Ибо чем ревностней, не за страх, а за совесть, служила эта голова орудием Мирового Духа в его уменьшенном идеологическом исполнении, тем более делалось ее сознание несчастным, как Гегель определяет его в своей *Феноменологии*.

«Это несчастное, раздвоенное внутри себя сознание — так как противоречие его сущности есть для себя одно сознание — всегда должно, следовательно, в одном сознании иметь и другое, и, таким образом, тотчас же как только оно возомнит, что оно достигло победы и покоя единства, оно из каждого сознания должно быть снова изгнано»¹.

Мировой Дух носит свое раздвоение, свое несчастье в себе, ибо между его содержанием и содержанием всякой психологии таится противоречие, которое не может быть снято, но должно быть подавлено и оттеснено.

«Человеческое» и «идейное» в принципе не могут совпасть окончательно, отчего «идейное» никогда не может отделаться от своего рода комплекса завоевателя на «территории человека». История раздвоения, подавления и вытеснения и была истинной историей Истинного Сознания и созданного им режима. Идеология оказалась по-человечески неисполнимой.

Однако сама эта неисполнимость была закрыта от ее разума, она была скрыта в ее сознании, не желающем ведать о своем несчастье. Само это несчастье как бы материализовалось в истории, оно стало той кошмарной зловонной ямой, где поселились чудища, отвергнутые чистым разумом. Абсолютный Субъект не мог прожить без монстров, им же и порождаемых, без тех самых уродов антиразума, на которые он должен был проецировать зло, что сам же творил. Эти существа

¹ Гегель. Феноменология Духа, М.1959, с. 112.

гнездились в нем самом, за хлипкой перегородкой, отделяющей одну реальность сознания от другой.

Была действительность, освоенная и построенная Разумом и проецируемая в будущее и была еще повседневность-ГУЛаг, и обе они помещались не только в истории, но и в отдельной человеческой голове с его трепетно счастливым «несчастливым сознанием». Всякий смысл имел под собой анти-смысл, всякий текст — подтекст, всякое сознание — подсознание, всякая достоверность — свое подполье. И они не были разделены китайской стеной, они существовали в единстве и борьбе противоположностей, и эта борьба в подсознании нашей эпохи оставила немыслимые гекатомбы жертв.

Альбер Камю где-то сказал: «Думали, что двадцатый век будет веком Маркса, а он оказался веком Достоевского». Сегодня можно было бы сказать: думали, что двадцатый век был веком Достоевского, а он вдруг оказался еще и веком Гегеля, как и веком Фрейда, веком призрачной сверхразумности, овладевшей историей, и темного огня, выплеснувшегося из тех глубин в человеке, о которых не ведает и он сам.

Следуя Гегелю, со всей скрупулезностью начертавшему, как построить действительность разумно, история руками свергнувших его учеников, выпустила на волю чудовищ, притаившихся под тонким слоем сознания.

И в этом «выбросе» из подполья Мировой Дух оказался всего лишь прикрытием. При видимом торжестве своем в качестве «системы координат», он послужил лишь своего рода «трансцендентальной иллюзией», и в качестве иллюзии он был сброшен иными духами со своего для себя-бытия в подсебя-бытие, в поддых истории, в солнечное сплетение мира или скорее в *anus mundi*.

Логика и вина

Можно ли говорить об ответственности Гегеля за все последующие «заключения диалектики» (Мерло-Понти)? Если сделать акцент на личной виновности абстрактнейшего из великих немецких мыслителей, то здесь вины его едва ли

больше, чем вины мудреца за орла, который по античной легенде когда-то уронил ему на голову черепаху.

Стоит ли говорить о виновности Мирowego Разума, перехитрившего историю и самого себя? Ну, в таком случае лучше нам сразу припомнить ползучего искусителя, соблазнившего нас некогда плодами с древа познания.

В каждую эпоху мы заново поддаемся на этот хмельной соблазн, и только потом, задним умом, в тяжелом похмелье, догадываемся, что угроза человеку исходит прежде всего от нас самих. Существует, однако, бесконечно более сложная проблема ответственности отвлеченной мысли, которая «отчуждается» от ее автора и в реальной истории живет уже как бы сама по себе, находя своих adeptов среди тех, кто никакой мысли бывает и не причастен.

Никогда не прикаснется к этой проблеме тот, кто будет звать «назад к Гегелю», к чистому Гегелю многотомного собрания сочинений, как нельзя объяснить коммунизм, исходя лишь из белизны первоначальных намерений юного Ильича-кудряша. Суть дела в логике мысли, всякий раз перешагивающей через голову своего предшественника и затем легко осваивающейся от него. Эта логика словно выражала себя в ряде последовательных перевоплощений или «похищений», когда из-под чистоты намерений основоположника всякий раз словно похищалась или, если угодно, «гениально угадывалась» настоящим его учеником ее реальная, ее духовная суть.

Однако угадывалась, однако похищалась эта суть не без тайного с ее стороны умысла, не без трепетного ее желания быть разгаданной, похищенной, оскверненной. «Скверна истории» даже входит в его программу, ибо, как говорит Гегель, «Мировой Дух не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для этой работы своего осознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело *en grand*, у него достаточно народов и индивидуумов для такой траты»¹.

¹ Гегель. Лекции по истории философии, Соч., том IX, М. 1932, с. 39–40.

Если бы Мировой Дух умел бы выражаться не философским, а поэтическим образом, он, наверное, заговорил бы откровенней, проще, по-пушкински:

*Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...*

Имя же конкретного исторического его псевдонима в данном случае не столь уж важно. Впрочем, превращения, совершающиеся внутри философии, никогда не бывают отвлеченно философскими — в этом была иллюзия Гегеля и многих других — «чистая мысль» всегда выявляет, выносит на поверхность свой «подтекст», свою сокрытую интенцию, что может затем раскрыться, то есть стать «текстом», а иногда и диктатом для последующих «человеческих поколений».

И какой бы дорогой не двигалась логика самопознания духа из себя самого, — сего изобретения чудовищно раздувшегося «Я», проецирующего себя на мир — от провозглашения всей действительности как становящейся сверхразумности до тотального идеологического насилия над действительности, или от Гегеля к ГУЛагу, — это был один из возможных ее путей, по-своему не менее законный и даже не менее последовательный, чем путь классической и великой философии Гегеля из одной глубокой диссертации о нем до другой.

И если мы задаемся вопросом об ответственности этой логики, то суть самого вопроса можно выразить не логикой во все, но какой-нибудь заведомой провокацией, подобно ставшему крылатым «коану» Адорно: «Всякая поэзия после Освенцима — только прах» (*Negative Dialektik*).

Однако каким «коаном», сможем мы передать ту «негативную диалектику» истории, в которой господство спекулятивного, коллективного разума привело к опыту, если не по качеству, то по числу злодейств, далеко превзошедшему Освенциму?

Легко, конечно, оправдать Гегеля на процессе об участии в марксизме-ленинизме и оградить его от *Философских тетрадей*, где, впрочем, тоже еще нельзя найти ни благословения

«массовидности террора» (Ленин в письме от 26.11.1918), ни поэзии концлагерей.

Но независимо от наших оправданий, история, распорядилась с его мыслью по-своему. Опыт идеологического насилия (и весь ГУЛаг — лишь концентрированное выражение его) выявил духовные корни этой мысли и вместе с тем трагедию ее; человек создает идола из своего познания, и вот сфабрикованный идол, вопреки намерениям своего создателя, после ряда диалектических метаморфоз обращается против человека.

Поэтому Гегеля — как и всякую отвлеченную мысль — можно постигать не только отвлеченной мыслью, но и «слышать сердцем», как говорил бл. Августин. И потому мы вправе читать его и сквозь опыт того потрясения «оснований земли» (Ис. 24,18), отдаленные раскаты которого соединились с абстрактнейшей логикой, вновь возжелавшей как бы сотворить мир заново из мысли и пустоты.

В этой «тайне беззакония»¹, всегда действующей в мире, но с невиданной и внезапной силой раскрывшейся в наш век, всегда просвечивает другая, тайна свободы Божией. Бог не препятствует богоборчеству человека, Он позволяет ему осуществиться сполна все задуманное и Сам становится вольной жертвой его.

Он дает распять Себя человеческой свободе и тем самым — изнутри — покоряет ее. С высоты Креста — со дна Освенцима и ГУЛага — неслышно доносится весть о Его победе.

Думали, что XX век будет тем или еще чьим-то веком, но он, как и вся человеческая история, оказался лишь веком Христа.

¹ См. 2 Послание ап. Павла к Фессалоникийцам 2, 7.

Виктор Фишман

Рисунки Дюрера для фюрера

Восемьдесят шесть лет назад, в начале тысяча девятьсот двадцать седьмого года, в старом хранилище Львовской национальной научной библиотеки английский исследователь Райтлингер обнаружил прекрасные графические работы великого мастера эпохи Ренессанса, немецкого живописца Альбрехта Дюрера и сообщил о своей находке в журнале «Burlington Magazine».

С этого времени началась почти детективная история, в которой оказались замешаны нацистские бонзы, американское командование в послевоенной Европе, украинские грабители и английские эксперты.

Как создаются коллекции?

Дюрер нынче дорог, то есть, не то слово: его работам просто нет цены. Но и тогда, когда им была вполне определенная цена — в форинтах, шиллингах или гульденах — раскупались они быстро. Ибо что-то не вполне осознанное зрителем проступает сквозь тонкие линии рисунков и гравюр. Не зря ведь одной из них посвящено... два толстых тома исследований! Говорят, что в работах Дюрера зрителя прельщает особая, только этому художнику свойственная меланхолия.

Писатель, врач, натурфилософ, астролог и адвокат Генрих Корнелиус известен как Агриппа из Неттесгейма делил меланхолию на три типа. По его классификации, к первому ти-

пу меланхолии относится *Melencholia Imaginativa*, которая поселяется в сердце художника, и тогда воображение начинает преобладать над разумом. Ко второму типу меланхоликов относились ученые и государственные деятели, то есть люди, у которых разум преобладает над воображением. А к третьему — люди, у которых над разумом и воображением преобладает интуиция, религиозные деятели и философы.

Сам Дюрер относил себя к первому типу меланхоликов, потому его рисунки и гравюры можно считать духовным автопортретом художника. Не потому ли Альбрехт Дюрер редко ставил свою подпись под рисунком?

Дюрерским сюжетам давались разные толкования: в них усматривали попытку отразить положение рыцарства, духовенства, бюргерства. Частая тема графических листов — смерть. Не зря говорят, что философия Дюрера лишена непосредственной жизнерадостности и бодрого оптимизма итальянского Возрождения.

Особенно интересен в этом плане ранний Дюрер. В это понятие входят его картины, рисунки, иллюстрации и гравюры. Писались и рисовались они в годы обучения молодого Альбрехта в нюрнбергском ателье известного художника и графика Михаэля Вольгемута, а также у художника и графика Мартина Шонгауера в эльзасском Кольмаре и у художников в Базеле.

Известно, что в тысяча четыреста девяносто четвертом году Дюрер вернулся в родной Нюрнберг, женился, завел свой дом, год спустя отправился в Италию. В конце девяностых годов Дюрер исполняет серию гравюр на дереве на темы Апокалипсиса, в которой средневековые образы переплетаются с событиями, навеянными современностью; несколько позже создает Малые и Большие — по величине досок «Страсти Христовы» и несколько автопортретов.

В те годы он практически безвыездно находился в Нюрнберге, и работал уже как самостоятельный художник.

Поскольку слава довольно рано распростерла над Дюрером свои крылья, продавались его работы хорошо. Их собирали богатые коллекционеры, священники и культурные заведования во всех странах Европы. Как эхо тех лет, сведения

о коллекциях сохранились в архивах библиотек, галерей и частных собраний.

В каталоге выставки «Дюрер и немецкий ренессанс», прошедшей в Тарту несколько лет тому назад, сказано, например, что в университетской библиотеке и художественном музее этого города находится едва ли не крупнейшее в Европе собрание графики XV—XIX веков, в том числе двадцать шесть оригинальных работ Дюрера на деревянных досках (!).

Часть из них передал в фонды библиотеки ее ректор, немец по происхождению, профессор Карл Моргенштерн, библиотека которого содержала одиннадцать с половиной тысяч томов и была крупнейшей в Тарту того времени; другие находились в частном собрании священника Густава Бергмана и попали в художественный музей вместе с книгами по теологии; в их числе были пять инкунабул (от лат. *incunabula* — колыбель, начало, то есть книги, изданные в Европе от начала книгопечатания). Девятнадцать из двадцати шести работ Дюрера представляют собой серию «Жизнь Марии», кроме того, есть портрет немецкого кайзера Максимилиана Первого, картина «Святое семейство с тремя зайцами», первые оттиски книг с иллюстрациями Дюрера в кожаных переплетах и так далее.

Нечто подобное можно найти и на Украине. Как предполагает директор Львовской национальной картинной галереи, известный исследователь Борис Возницкий, обнаруженные английским исследователем Райтлингером рисунки Дюрера в старом хранилище Львовской национальной научной библиотеки попали сюда из богатой коллекции картин, скульптур и графических работ Рудольфа Второго, ставшего чешским королем и одновременно правителем всей габсбургской монархии.

Позднее часть этой коллекции, в том числе и рисунки Дюрера, приобрел князь Генрих Любомирский. Затем он передал их графу Йозефу (Иосифу) Максимилиану Оссолинскому — основателю собрания старинных рукописей и художественных ценностей.

В своем завещании князь Любомирский подчеркнул, что предметы, внесенные в фамильную публичную библиотеку

под титулом Оссолинских (Оссолинеум) во Львове, «должны составлять с ней единое целое, не должны быть кем-либо изъяты, сняты с места, перенесены, от него оторваны и отделены, а навеки вечные должны в ней оставаться».

Более ста лет рисунки великого немецкого художника пролежали в фондах Оссолениума в забвении. А когда они были обнаружены — это стало мировой сенсацией. Естественно, что они не могли не попасть на выставку произведений Альбрехта Дюрера в его родном городе Нюрнберге в связи с четырехсотлетием со дня кончины художника, где демонстрировались с апреля по сентябрь двадцать восьмого года. Немецкие искусствоведы запомнили львовскую коллекцию Дюрера. Особое впечатление производил великолепный автопортрет художника, выполненный тушью и чернилами и датированный тысяча четыреста девяносто третьим годом!

В тридцать девятом году, когда Львов из состава Польши официально перешел к СССР, права Оссолениума были упразднены, и собрание рисунков как таковое перестало существовать. Его преемником стала библиотека имени В. Стефаника при Академии Наук Украины, которая начала работать с сорокового года.

В фонды библиотеки вошли шедевры из восьмидесяти четырех частных и ведомственных библиотек города Львова и Западной Украины, конфискованные монастырские фонды, частные собрания и книги Института Оссолинских, в том числе и коллекция князей Любомирских.

В соответствии с планом «Ост»

Альфред Розенберг, ставший впоследствии шефом оккупированных территорий, еще до начала войны представил фюреру проект директив по вопросам политики на территориях, которые должны быть оккупированы в результате агрессии против СССР. В соответствии с этим планом, на советской территории должны быть созданы пять протекторатов.

Гитлер выступил против автономии Украины и заменил для нее термин «протекторат» на «рейхскомиссариат».

В итоге Эстония, Латвия и Литва, где проживало население с «арийской» кровью, составили протекторат «Остланд», а рейхскомиссариат «Украина» включал в себя Восточную Галицию — известную в фашистской терминологии как «Дистрикт Галиция»; Крым, ряд территорий по Дону и Волге, а также земли упраздненной советской Автономной Республики немцев Поволжья.

После начала войны в ведомстве Розенберга, ставшего заместителем фюрера по надзору за духовным и идеологическим обучением в нацистской партии, был образован специальный штаб известный под аббревиатурой ERR. Этот штаб занимался сбором художественных ценностей в странах покоренной Европы. Штаб помогал созданию задуманного Гитлером огромного «Музея Фюрера» в его родном австрийском городе Линц.

Фюреру, который в молодости, как известно, мечтал о карьере художника, импонировала философия художника Дюрера. Да и стоимость картин и рисунков Дюрера вполне соответствовала имиджу создателя музея.

Оккупация Львова

В задачу спецгруппы «по защите произведений искусств на оккупированных территориях», возглавляемой капитаном СС Каэтаном Мюльманом, входило, в первую очередь, изъятие рисунков Дюрера из собрания Любомирских.

Как позднее признался на Нюрнбергском процессе сам Каэтан Мюльман, им было изъято и переправлено в Берлин тридцать один рисунок Дюрера. По словам капитана, «по особому распоряжению Геринга эти рисунки, помещенные в папки под номерами, были направлены непосредственно Адольфу Гитлеру в его главную резиденцию», то есть, в Рейхсканцелярию.

Изымались также скульптуры, картины, гобелены. Борис Возницкий: «только из штаба „люфтваффе“, располагавшегося в Львовской картинной галерее, было отправлено... двести ящиков в сопровождении львовского реставратора; туда же уехала и старинная мебель из музея этнографии...».

К слову сказать, во Львове нацисты грабили не только музеи и библиотеки, но и частные коллекции. В книге «Возмездие должно свершиться. Нацистские военные преступники и их покровители» ее автор Владимир Молчанов рассказывает об одном мультимиллионере из Нидерландов, который обогатился в сорок первом году, завладев коллекциями живописи и драгоценностей из квартир нескольких крупнейших львовских профессоров. Последние были расстреляны в одну ночь.

Музей в Линце

Говорят, что идея супермузея в тихом провинциальном городке Линц на берегу Дуная, где прошло детство Адольфа Гитлера, принадлежала самому фюреру.

Здесь он решил собрать главные — с его точки зрения! — художественные сокровища покоренных стран, чтобы превратить родной город в центр культуры если не всего мира, то, по крайней мере, всей Европы.

Существует фотография, на которой изображен фюрер, рассматривающий макет грандиозного музейного комплекса с картинной галереей в самом его центре. В прессе проект получил название «Музей Фюрера» или «Секретная миссия Линц».

К «Миссии Линц» он привлек доверенных людей — своего секретаря и руководителя Партийной канцелярии НСДАП Мартина Бормана, личного архитектора и рейхсминистра вооружений и военной промышленности Альберта Шпеера и директора музея в Дрездене Ганса Поссе.

Методы создания коллекции супермузея зависели от конкретных обстоятельств. Художественные ценности «врагов» и «неполноценных народов» заранее объявлялись «Фондом Фюрера» и поступали в распоряжение Поссе, который отбирал лучшее для будущего музея.

Для пополнения коллекции не брезговали и заложниками. Чаще всего это касалось евреев, обреченных на уничтожение в концлагерях. Их освобождали и выпускали за границу, если друзья и родственники отдавали за их жизнь картину, необходимую фюреру. По поводу аналогичного случая высокому

бонзе на съезде нацистов — по случайному совпадению, чаще всего проходивших на родине Дюрера, в Нюрнберге, были высказаны обвинения в связях с иудеями. На что с высокой нацистской трибуны прозвучал известный ответ: «Кто есть еврей, определяю только я!».

Если же владельцем шедевра оказывался ариец, ему делали «предложение, от которого тот не мог отказаться». Говорят что картина «Художник в мастерской» знаменитого Вермеера из коллекции австрийского министра иностранных дел, графа Чернин была продана Гитлеру меньше чем за два миллиона рейхсмарок, хотя раньше ее хозяин отклонил предложение американского банкира и коллекционера Меллона Уильяма Эндрю в шесть миллионов долларов.

Гитлер вообще интересовался древними мастерами. Например, в письме Ганс Поссе информировал Бормана, что Гитлер в частной беседе с коллекционером Отто Ланцем из Амстердама высказал желание приобрести двадцать четыре рисунка Дюрера и сорок рисунков Рембрандта из местных музеев. Для этого было предназначено около двух с половиной миллиона гульденов. То, что на Западе прилично купить, на Востоке можно было просто украсть. Неудивительно поэтому, что из всего захваченного во Львове для Линца была отобрана только коллекция рисунков Дюрера. Как сообщает исследовательница Биргит Шварц, около тридцати рисунков Дюрера из коллекции Любомуирских в Лемберге (так до войны именовался по-немецки Львов) были «напрямую доставлены Гитлеру».

Некоторые из рисунков Дюрера и Кранаха украшали стены главного подразделения «Fritz» в ставке Гитлера «Волчьего логова». Всего же, как подсчитали специалисты, для музея в Линце было частично куплено, а в основном захвачено, почти пять тысяч художественных шедевров, в том числе, картины, скульптуры, мебель и фарфор.

О значении, которое Адольф Гитлер придавал своему музею, свидетельствует интересный факт: еще за несколько дней до своей смерти, в Канцелярии в бункере фюрер показывал приближенным список картин, которые он хотел бы иметь в музее в Линце.

Сокровища соляной шахты

В конце Второй мировой войны рисунки Дюрера в специальном сейфе были перевезены в австрийский городок Альтаусзее, что вблизи Зальцбурга, и захоронены в местной соляной шахте.

Кроме них сюда свезли со всей Европы почти шесть с половиной тысяч шедевров: картины и скульптуры работы Рембрандта, Тициана, Рафаэля, Рубенса, Вермеера, ван Дейка, Микеланджело и других, а также старинные гобелены, фарфор и мебель.

В начале апреля сорок пятого года туда же занесли восемь ящиков с надписью: «Осторожно! Мрамор! Не бросать!». На самом деле в них находились мощные бомбы — до пятисот килограмм в трстиловом эквиваленте. Однако взорвать шахту не удалось: восьмого мая сорок пятого года ее захватили американские солдаты.

Спрятанные в шахте сокровища обнаружили несколько месяцев спустя. Тотчас же они были перевезены в особый сборный пункт в американской зоне оккупации, в Мюнхене.

Дальнейшую судьбу гравюр Дюрера из собрания князей Любомирских проследила английская исследовательница Лин Николас. Но об этом — ниже.

В Протекторате «Остланд»

В протекторате — позднее — рейхскомиссариате — «Остланд» рисунки и гравюры Дюрера из библиотеки университета Тарту нельзя было просто украсть, как это проделала команда капитана СС Каэтана Мюльмана во Львове. Здесь штаб Розенберга воспользовался специальным распоряжением Адольфа Гитлера, в соответствии с которым сотрудникам штаба разрешалось «обыскивать библиотеки, архивы, жилые помещения и культурные учреждения и изымать материалы, культурные ценности ...» и так далее.

Прочитируем по этому поводу «Предписание №265» начальника оперативного штаба Розенберга, рейхсгауптштелленляйтера Герхарда Утикаля, о вывозе культурных ценностей из рейхскомиссариата «Остланд»: «21 августа 1944 года

рейхсляйтер Альфред Розенберг затребовал от главного оперативного руководителя Фридриха Шюллера (*оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга — В. Ф.*) доклад об имеющихся в настоящее время возможностях эвакуации культурных ценностей из района «Остланда». На основании этого доклада рейхсляйтер принял решение вывезти силами своего оперативного штаба наиболее важные культурные ценности «Остланда», поскольку это возможно сделать, не нанося ущерба интересам действующих войск. Особенно важными рейхсляйтер считает следующие культурные ценности...».

Далее идет перечисление учреждений и городов, из которых надлежало вывезти культурные ценности, в том числе: «в Тарту: университетская библиотека, фонды, находящиеся в эстонских помещичьих имениях в Ерлепе, Водья, Вейсенштейне, Лахмессе». В Предписании далее говорится:

«Организация вывоза возлагается на главного оперативного руководителя Шюллера как на исполняющего обязанности начальника центральной группы «Восток» оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга. Ему надлежит установить, в особенности, связь со штабом группы армий «Север» с целью согласовать осуществление задания рейхсляйтера с потребностями в транспорте действующих войск...»

Однако ситуация в районе действий армий «Север» во второй половине сорок четвертого года коренным образом изменилась, и немцам уже было не до воровства культурных ценностей. Так получилось, что рисунки и книжные иллюстрации Дюрера чудом остались в фондах библиотеки университета и художественного музея Тарту.

Продолжение детектива

Документы, обнаруженные английской исследовательницей Лин Николас, свидетельствуют, что наследник Любомирских, князь Георг Любомирский, с апреля сорок шестого по июль сорок восьмого года писал письма в спецслужбы США и предпринимал неоднократные попытки добиться от оккупационных американских властей в послевоенной Европе воз-

врата рисунков Дюрера не в Польшу, не в СССР, а лично ему как законному хозяину.

Он обещал за это подарить рисунки национальной галереи Вашингтона. Ему было важно, наверное, чтобы под рисунками, висящими, скажем в зале Метрополитен, стояло: «Собственность князя Георга Любомирского».

В конце концов, в соответствии с документами, подписанными американскими представителями и князем, рисунки Дюрера «были переданы не СССР или Польше, а непосредственно князю Георгу Любомирскому».

Князь Георг Любомирский умер в семьдесят восьмом году в возрасте девяносто одного года. Борис Возницкий считает, что рисунки Дюрера были распроданы им «через дилеров за баснословные деньги по частным коллекциям и музеям...». Но детективная история на этом не закончилась.

Средства массовой информации рассказали о странном случае, произошедшем с куратором Львовской национальной галереи Дмитрием Шелестом. Этот человек тоже был причастен к поиску и возврату рисунков Дюрера.

В декабре девяносто второго года Дмитрий Шелест и исполняющий обязанности администратора галереи Ярослав Волчек были убиты во время вооруженного ограбления Львовской галереи. Грабители похитили три полотна классиков польского искусства — Яна Матейко и Артура Гротгера. Специалисты сыскных органов называют это преступление странным, не поддающимся объяснению.

Как сообщил журнал «The International Newsletter», Львовская коллекция рисунков Дюрера буквально разлетелась по свету. Сегодня точно установлено, что гравюра «Похищение Европы» находится в Британском музее; «Человек с веслом» — в галерее Института изящных искусств Барбер, Бирмингем; «Конь» и «Мадонна» — в Музее Боймансаван Бенингена, Роттердам; «Молодой бык» — в Художественном институте Чикаго; «Автопортрет», «Фортуна» и «Святое семейство» — в Метрополитен-музее Нью-Йорка; «Благочестие пеликана» — в библиотеке Моргана Пирпонта, Нью-Йорк; «Голова оленя» — в Художественном музее Нельсон-Аткинс в Канзас-

Сити, Канзас-Сити, штат Миссури; «Отдыхающий юноша» — в Музее изящных искусств в Бостоне; «Смерть Христа» и «Вознесение Христа» — в Художественном музее Кливленда; «Обнаженная женщина» — в Национальной галерее Канады; кроме того, в частных собраниях хранятся еще не менее семи гравюр, например, «Мадонна в Риме» — в одной из коллекций в Нью-Йорке.

Спасение обворованных — дело рук самих обворованных?

Почему эти бесценные гравюры до сих пор не вернулись во Львов? На этот вопрос в определенной мере отвечает Борис Возницкий:

«С пятидесятих годов и победители, и побежденные начали отказываться от «государственного» принципа, положенного в основу «Большой реституции» в сорок пятом году. Причиной послужили многочисленные «эпизоды», в которых правительства соцлагеря просто национализировали возвращаемое имущество, а не передавали их коллекционерам или церквям.

Теперь, чтобы получить принадлежащую ему вещь, владелец — музей ли, частное ли лицо — сам должен был доказывать, что не только имеет права на картину или скульптуру, но и что украли ее у него не уголовники или мародеры, а именно гитлеровцы.

...Пытались мы неоднократно поднять вопрос и о возвращении рисунков Дюрера, однако сотрудники библиотеки имени Стефаника нас попросили не вмешиваться; мол, это их графика, и они сами будут решать свою проблему. Вот, до сих пор решают...»

Как сообщил автору статьи доктор Даниель Гесс, один из организаторов большой выставки в Германском национальном музее в Нюрнберге, ими был направлен запрос в Нью-Йорк с просьбой передать во временное пользование один из рисунков Дюрера, имеющий отношение к тематике выставки.

Но оттуда вежливо ответили, что сами планируют подобную выставку в музее Метрополитен и поэтому прислать

рисунок не могут. Так что посетители выставки «Der frühe Dürer», которая прошла в Нюрнберге, не смогли увидеть ни одной работы Дюрера из собрания князей Любомирских, оказавшихся за океаном.

Не увидят они и работ Дюрера из городской библиотеки Тарту. Дело в том, что уважаемый доктор Даниель Гесс о них никогда «и слыхом не слыхивал», а посему вынес автору этой статьи отдельную благодарность за сообщение о таком хранилище. Но пароход, как говорится, уже ушел, и в каталог упомянутой выставки эти произведения Дюрера не вошли.

Зато читатели журнала «Грани» знают теперь о судьбе рисунков Дюрера не меньше, чем специалисты из Нюрнберга.

Анна Трушкина

Неслыханная простота

*Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.*

Борис Пастернак

В тысяча девятьсот тринадцатом году в «Биржевых ведомостях» был опубликован групповой портрет под заголовком «Те, о которых говорят», сопровождаемый текстом: «Петербург только и говорит о футуристах... Фотография не нуждается в комментариях: она украсила бы любую коллекцию профессора Ломброзо и других исследователей вырождения».

Такой комментарий, очевидно, заслужила плетка в руках одного из футуристов и подвешенный к лацкану пиджака галстук другого. Среди этих, как их именovala газета, «модных героев» — Николай Бурлюк, Василиск Гнедов, Константин Олимпов, Бенедикт Лившиц, Рюрик Ивнев, даже Осип Манделштам. Крайний справа во втором ряду, молодой человек с челкой и темным бантом на шее — девятнадцатилетний Жорж Иванов, к тому времени уже автор вышедшей в

тысяча девятьсот двенадцатом году книги поэт «Отплыть на о. Цитеру».

А вот другая фотография, помещенная в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году в русскоязычном журнале «Литературный современник», выходившем в Мюнхене. Галстук на своем привычном месте, высокий лоб, усталые глаза, усы с проседью. Обыкновенный человек с самой распространенной на Руси фамилией, так отличающийся от эпатирующего юноши, каким он был сорок лет назад («Иду среди них, такой же, как они, / Развязен вид, и вовсе мне не дики / Нескромный галстук, красные гвоздики... / Приказываю глазу: «Подмигни»).

Рядом с фотографией — стихотворения, еще более разделяющие два образа:

*Белая лошадь бредёт без упряжки.
Белая лошадь, куда ты бредёшь?
Солнце сияет. Платки и рубашки
Треплет в саду предвесенняя дрожь.*

*Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.*

*Хоть поскучать бы...Но я не скучаю.
Жизнь потерял, а покой берегу.
Письма от мёртвых друзей получаю
И, прочитав, с облегчением жгу
На голубом предвесеннем снегу.*

Разительное отличие творческой манеры Георгия Иванова-эмигранта от самого себя раннего способствовало возникновению своеобразного мифа. Каждый второй критик, пишущий о поэте, говорит о «встряске», предшествовавшей переждению Иванова в поэта первой величины.

Подобного мнения придерживались и некоторые современники Иванова. Юрий Иваск считал, что «если бы не было этой «заграницы», Георгий Иванов едва ли стал бы боль-

шим поэтом»¹, Владимир Марков утверждал, что только «в эмиграции, и благодаря ей, он стал поэтом единственным и неповторимым»². Поэтическим выражением этого мифологизированного представления об Иванове стало стихотворение Семена Липкина «Парижская нота»:

*Называла Жоржиком Ахматова
Юного столичного хлыща,
Этого порочного, губатого,
Чья строка вторична и нища.*

*Тяжки эмигрантские условия,
Часто решка, изредка орёл.
Отпрыск благородного сословия
Благородство высшее обрёл.*

*Он сумел вдали от русской смежности,
С полутьяной смертью визави
Вызволить из долгой безнадежности
Музыку страданья и любви³.*

Все это отчасти верно, только слишком уж общим местом становится утверждение, что своим поздним гением поэт обязан именно катастрофе, некоей мгновенной вспышке, под которой, несомненно, понимается эмиграция. Повидимому, *миф* о Георгии Иванове потому так устойчив, что накладывается на древний прасюжет инициации — смерти и последующего воскрешения культурного героя, обогащенного новым сокровенным знанием, где отъезд в эмиграцию ассоциируется со смертью, а позднее творчество — с возрождением.

Алекова, автор одного из немногих диссертационных исследований поэзии Георгия Иванова, так прямо и пишет:

¹ Иваск Ю. Русские поэты. Николай Гумилев. Георгий Иванов // Нов. журнал. — 1970. — №98. — С. 135.

² Марков В. Ф. О поэзии Георгия Иванова // Опыты. — 1957. — №8. — С. 84.

³ Липкин С. И. Семь десятилетий: Стихотворения. Поэмы. — М., 2000. — С. 379.

«У нас есть основание говорить не о преобразении, а о *воскресении* поэта в эмиграции»¹ (*курсив наш* — А. Т.).

Но, по нашему мнению, «миф» о поэте, действительно совпадающий с реальной эволюцией художественного мира и лирического героя, да и с собственной оценкой автора в двух главных моментах — поэт «второго ряда» до эмиграции и поэт — гений после, неверен в моменте ключевом. Трансформация богемного «Жоржика» в серьезного, глубокого лирика не была мгновенной, спровоцированной только лишь эмиграцией. Ее сопровождала последовательная внутренняя эволюция, длящая всю творческую жизнь. Девизом ее можно было бы поставить требование Верлена: «Музыка, музыка прежде всего!»

В критических статьях пятнадцатого-семнадцатого годов уже вполне сформировалось представление Георгия Иванова о «настоящей» поэзии, которое не претерпело изменений за всю его жизнь. В работе «Творчество и ремесло» Иванов восхищается стихами Блока, потому что они «несложные по заданию, простые по исполнению...», здесь читатель находит «простые темы, простые слова». Подчеркивается «просветленная простота», «безыскусственная песня», «певучесть, лирическое колдовство» поэта, и противопоставляется это «малерности» и «ухищрениям» стихов Брюсова.

Здесь уже мы видим ту антиномию, которой будет верен Иванов всю жизнь, которую будет отстаивать в своих статьях, следовать которой будет в творчестве: противопоставление даровитости, мастерства, совершенной техники — и «музыки», лиризма стиха, выражаемых именно в отсутствии ухищрений, в «банальной рифме», «знакомом образе», которые «неожиданно загораются с новой силой и кажутся произнесенными в первый раз». Вот что он пишет: «Глубокая или новая мысль может даже повредить стихотворению, как вредит вычурная метафора или слишком звонкая рифма»².

В двадцать седьмом году, в разгар «литературной войны» с Ходасевичем, свои упреки ему Иванов строит опять же на

¹ Алекова Е. А. Поэзия Георгия Иванова периода эмиграции (проблема творческой эволюции), диссертация. — М., 1994. — С. 7.

² Иванов Г. В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 493.

противопоставлении чудесной «музыки» Блока и прилежного и холодного мастерства Ходасевича.

В тридцатом году появляется крайне недоброжелательная статья Иванова о Владимире Набокове. И опять упреки в «чрезмерном» мастерстве, технической ловкости. И констатация — это не искусство, не «вдохновение».

В критических статьях Иванова указание на простоту и безыскусность произведения — высшая похвала. Так, он пишет о Бунине: «Самое удивительное, что искусство это, при всей сложности и богатстве его средств, кажется до бесхитростности простым»¹. В рецензии на «Флаги» Бориса Поплавского: «Новизна ...меньше всего заключается в блеске каких-нибудь новых приемов». В рецензии на книгу стихов молодого поэта-эмигранта Алексея Холчева «Гонг»: «Темы Холчева, темы смерти, ужаса, одиночества были и должно быть долго останутся «столбовыми», главными темами большой русской литературы, единственными, в сущности, темами, которые брались ею всерьез. «Пути конквистадоров» ей чужды и от «изящного мастерства» ее, от века, мутит»².

Неукоснительно придерживаясь своих воззрений о *душе*, которая прежде всего должна присутствовать в поэзии, Иванов согласен прощать даже серьезные «технические» несовершенства: «Надсон скверный поэт, спорить трудно. Но в то же время он для меня, несомненно, частица того русского Чуда, совесть в беспримесно чистом виде, гипертрофия душевной чистоты, почти уничтожающая безвкусицу и банальность поэзии в формальном смысле — и для меня лицо Надсона с прекрасным, какого не сделаешь нарочно, выражением прекрасных глаз — рисуется мне где-то непосредственно за «первым рядом», за Пушкиным и Толстым. А разные мастера стиха (и верно, мастера) — Брюсов и Сологуб — далеко позади»³.

¹ Иванов Г. В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 516.

² Г. И. Алексей Холчев. Гонг. Смертный плен. // Числа. — 1930. — № 2–3. — С. 268–269.

³ Переписка Георгия Иванова // Новый журнал. — 1996. — № 203 / 204. — С. 177.

Георгий Иванов утверждает, что «дело поэта — создать «кусочек вечности» ценой гибели всего временного, — в том числе нередко и ценой собственной гибели»¹.

Именно трудноуловимая ирреальность, «дыхание вечности» превращает стихотворство в поэзию. Без него образы не наполняются высшим смыслом. Они — лишь грубый слепок с приземленной действительности. Такое искусство не может составить убедительную и правдивую картину мира, оно бесполезно, так как не в силах приблизиться к глубинной сути жизни, не в силах «воссоздать чудный мир».

Размышляя о «Сивцевом вражке» Михаила Осоргина, Иванов замечает его существенный недостаток, состоящий, по его мнению, в отсутствии «просвета в вечность», или «четвертого измерения». Он сравнивает мастерство Осоргина с мастерством живописцев-«передвижников»: «оно так же «честно» и точно так же ограничено «непреображенным» бытом»²:

*Летний вечер прозрачный и грузный.
Встала радуга коркой арбузной,
Вьётся птица — крылатый булыжник...*

*Так на небо глядел передвижник,
Отимист и искусства подвижник.*

По такому губительному для нее пути, по мнению Георгия Иванова, идет современная поэзия. Ее поэт не принимал совершенно, видя здесь еще одно доказательство гибели гармонии.

Отказ от «трансцендентального плана» обернулся бездуховностью и смысловой облегченностью — задача предьявить читателю образцы подобного искусства и современной абсурдной, не освященной надмирной идеей реальности, стояла перед Ивановым в момент написания стихотворного цикла «Rayon de gaupon».

Только трансцендентальное своим незримым присутствием наполняет жизнь художника и его произведения высоким смыслом. Умение поэта, говоря словами Блока, оторвать свой

¹ Иванов Г. В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 534.

² Иванов Г. В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 507.

взгляд от земли, «поднять глаза к небу», чтобы увидеть звезды — свидетельство истинности его дара. Если прорыв в трансцендентное происходит, *«Все исчезает, остается / Пространство, звезды и певец»*, — любил цитировать Иванов, и добавлял: «Цитата из Мандельштама — божественная, по-моему»¹.

«Если из поэтического опыта последней четверти века можно сделать полезный вывод, — размышлял Иванов — то вывод этот, конечно, тот, что все внешние «достижения» и «завоевания» есть нелепость и вздор, особенно в наши дни, когда поэзия, словно повинувшись приказу:

*...Останься, пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись! —*

стремится — почти до самоуничтожения — сделать свою метафизическую суть как бы обратно пропорциональной ее воплощению в размерах и образах»².

Метафизическая суть поэзии, музыка — конечно, доставшаяся в наследство от любимого поэтом Блока ставится Георгием Ивановым в отношения противоречия с «размерами» и «образами», внутреннее содержание противопоставляется внешней форме. Значит, чем меньше остается ярко-внешнего, тем сильнее будет звучать истинно-поэтическая *мелодия*.

Не с этой ли установкой связаны многие творческие принципы «позднего» Иванова? Поскольку *музыка* стиха, то есть интонационно-ритмическая структура стихотворения оказывается самой важной составляющей, банальность образов уже не имеет значения.

Об этом свидетельствует уже само название сборника — «Розы» — редкий поэтический образ может быть более «за-терт». Скорее даже наоборот, «бесцветность» образов, их *семантическая невыразительность* позволяет «через голову» слов передать музыку, становится фоном, на котором ярче выделяется мелодика стиха.

¹ Georgij Ivanov/Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. — Köln; Weimar: Wien: Böhlau Verlag, 1994. — С.45.

² Иванов Г.В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 532.

Именно из-за авторской установки на семантическую второстепенность многие стихотворения Иванова, в том числе и «провокационное» «Хорошо, что нет Царя» нельзя понимать буквально.

Георгий Иванов еще в семнадцатом году предостерегал «наивных» толкователей его поэзии: «Очень грубая и очень распространенная читательская ошибка — судить о поэте не по голосу и духу его созданий, а по тому, о чем он рассказывает»¹.

Таким образом, предложив читателям заведомое *противоречие*, заложенное в самой сущности стиха, противопоставив содержание стихотворения его «духу» и «голосу» — то есть идее и «музыке», юный Иванов, сам того не желая, дал нам ключ к пониманию многих его «зрелых» произведений.

Много позднее, уже в пятидесятых годах, развивая близкую ему мысль о противоречивости художественного высказывания, а также по-своему трансформируя тютчевское «мысль изреченная есть ложь», поэт писал Владимиру Маркову по поводу своего предисловия к сборнику Сергея Есенина: «Мог написать и более — менее «наоборот». Разве Вам это непонятно?» и в подтверждение приводит высказывание Поля Валери, любопытное своей парадоксальностью, о том, что «стилистическое усилие» меняет пришедшую в голову мысль «вплоть до противоположности». Однако, «то, что получилось в результате и есть моя мысль»².

«Хорошо, что нет Царя» — один из редких примеров апофатической поэзии, — пишет Маркову жена поэта Ирина Одоевцева. — К сожалению, это редко кто замечает, понимая как утверждение — «Хорошо, что никого, хорошо, что ничего». — Какой нигилизм. Георгий Владимирович хотел сам Вам писать, но не в силах»³.

¹ Иванов Г. В. Собр. соч. в 3-х тт. — Т. 3. — М., 1994. — С. 483.

² Georgij Ivanov/Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. — Köln; Weimar: Wien: Böhlau Verlag, 1994. — С.11-12.

³ «...Я не имею отношения к Серебряному веку...» // In Memoriam... — СПб.; Париж, 2000. — С. 426.

То, что, опровергая упреки в нигилизме, Иванов характеризует свое стихотворение, прибегая к богословским терминам, оказывается значимым для его верного понимания. Апофатическая теология была разработана Дионисием Ареопагитом и стремилась «путем последовательного отрицания всех понятий, атрибутов и представлений, связанных с Богом, доказать его абсолютную трансцендентность (отрицание того, что он есть, а затем того, что его нет, позволяло доказывать его существование по ту сторону бытия)»¹.

«Какими бы словами мы не определяли Бога, все эти определения будут неверны. Они ограничены, они земные, они взяты из нашего земного опыта. А Бог превыше всего тварного»,² — говорит современный богослов. Лирический герой Иванова, отказываясь последовательно ото всех наиболее значимых для него, как для русского человека, ценностей (*Царь, Россия, Бог* — своеобразные ступени высокой иерархии), освобождаясь от «слишком человеческих» понятий, вернее представлений о них, как бы сбрасывая свою телесность, вместо обжитой, хорошо знакомой реальности оказывается в пугающем черном и мертвом пространстве:

*Только жёлтая заря,
Только звёзды ледяные,
Только миллионы лет.*

Но приятие, освоение «чужой» ирреальности становится лишь этапом на пути обретения иной, нематериальной сущности, способной понять *несказуемое*, принять не человеческим разумом, но «свободным сердцем» божественную сущность мира. «Апофатическая» тема развивается и в другом стихотворении, кульминационном для сборника «Розы»:

¹ Краткая философская энциклопедия. — М., 1994. — С. 26

² Кто такой Бог? Лекция профессора А.И. Осипова по основному богословию, прочитанная в Сретенском училище 10 октября 2000 г. // Internet: www.pravoslavie.ru

*И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид —
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.*

Владимир Марков в статье, посвященной творчеству Иванова, сетовал на «глухоту» критиков: «В строке «Хорошо, что нет Царя» не слышат интонации, читают слова, как читали бы их в газетной передовице, или же не дочитывают стихотворения до конца»¹.

Действительно, поэт выдвигает на первый план мелодику, «музыку» стиха, его интонацию — восходящую на протяжении всего стихотворения и заканчивающую его апогеем, обрывающую на самой высокой точке. Как заметил Юрий Иваск, «здесь не только злая ирония, а будто блоковский ветер пронесся»². Ритмический и синтаксический параллелизм, словесные повторы, обилие отрицательных частиц и неопределенных местоимений — все эти приемы усиливают мелодическую интонацию.

Свидетельство доминирования музыкальной интонации в противовес логической основе — отсутствие развернутых предложений. Синтаксис Георгия Иванова как раз и не осложнен сложноподчиненными отношениями. Как правило, строфы состоят из простых предложений или из сложносоподчиненных, дробящихся на несколько обособленных простых, слабо связанных семантически. Ритмическое членение совпадает с членением синтаксическим:

*И нет и да. Блестит звезда.
Сто тысяч лет — всё тот же свет.
Блестит звезда. Идут года,
Идут века, а счастья нет...*

Здесь опять — соединение несоединимого в ирреальности, преодоление противоречивости мира, подчеркнутое мелодической интонацией посредством внутренней рифмы, цезуры в середине строки, синтаксического и ритмического параллелизма, словесных повторов.

¹ Марков В. О поэзии Г. Иванова // Опыты. — 1957. — № 8. — С. 86.

² Иваск Ю. Русские поэты. Николай Гумилев. Георгий Иванов // Новый журнал. — 1970. — № 98. — С. 136.

Стихотворение «Россия счастье. Россия свет» из цикла «Отплытие на остров Цитеру» построено на постепенном замещении образа России «музыкой, сводящей с ума».

Предположение «А, может быть, России вовсе нет» подтверждается нагнетанием мотивов снега и тьмы, причем главным в этом стихотворении оказывается опять же мелодическая интонация, усиленная анафорами *и, а, может быть*, синтаксическим и ритмическим параллелизмом: «Россия счастье, Россия свет; Россия тишина, Россия прах; веревка, пуля, ледяная тьма; веревка, пуля, каторжный рассвет», словесными повторами «поля, поля», и особенно «снега, снега, снега», внутренне рифмующиеся с «ночь долга», и, наконец, связывающие два основных мотива снега и ночи в один образ — «ледяная тьма».

Так, имеющий конкретные пространственно-временные черты образ России — *закат, Нева, Петербург, Пушкин* трансформируется в нечто трансцендентное, «чему названья в мире нет», в образ, принадлежащий ирреальности с ее «бесчеловечными» вневременными и внепространственными характеристиками — *ледяная тьма; музыка, сводящая с ума*.

Стихотворение «Музыка мне больше не нужна» построено на внутреннем споре лирического героя с самим собой. Основная мысль стихотворения, заявленная в первых его строках со всей определенностью и четкостью, опровергается самим строем стихотворения, его напевной интонацией, внутренней «музыкой». Стихотворение состоит из пяти двустиший, первые три — с парной рифмой, последние — с выделяющей их перекрестной.

Интонационно стихотворение построено в полном согласии с предложенным образом поднимающейся и рассыпающейся волны. Первые три строфы — интонационный подъем, организованный ритмическим, синтаксическим и семантическим повтором первых строк. Далее — нарастание мелодии за счет анафоры *пусть себе* и опять же синтаксического, ритмического и семантического параллелизма. Следующее двустишие: «*Ничего не может изменить, / И не может ничему помочь*» — своеобразный «откат» музыкальной волны, хотя и удерживающий мелодическую интонацию лексическими повторами и

инверсией. Затем — завершающее двустипение: *«Тó, что толь-ко плачет и звенит, / И туманит, и уходит в ночь...»* — новая волна, интонационно поднимающаяся за счет повторяющегося союза «и» и четырех нанизываемых один за другом семантически сходных глаголов. Таким образом, на интонационном уровне «музыка» побеждает декларативное желание автора отказать от нее. Как сказано в другом стихотворении,

*И полную грудью поётся,
Когда уже не о чем петь.*

Поскольку смысл стихов для Георгия Иванова часто обратнó пропорционален прямóму значению слов, которыми они написаны, подлинная тема, *суть* стихотворения оказывается скрытой от поверхностного прочтения. Первое впечатление зачастую обманчиво, оно противоречит глубинной мысли, скрытой в самой ткани стиха. Однако все-таки и образы, и ритм, и аллитерации служат одной музыкальной и смысловой теме, обнаружить которую можно при внимательном вслушивании в стихотворение.

Чем тоньше будет «музыкальный» слух читателя, тем вернее он уловит истинный смысл и поэтическую прелесть стихов. Для примера проанализируем одно стихотворение из цикла «Дневник» — «Отзовись, кукушечка...». О значимости его в творчестве Иванова свидетельствуют строки из письма поэта к Владимиру Маркову: «Дневник весь существует благодаря «На юге Франции... » и «Отзовись...». Остальное более-менее отбросы производства»¹.

*Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
Весточка, царапинка, снежинка, ручеёк.
Нежности последыш, нелепости приёмныш,
Кофе-чай-сахарный потерянный паёк.
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
В одеяльной одури, в подушечной глуши,*

¹ Georgij Ivanov/Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. — Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. — С. 35–36.

*Белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
Ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши.
Отзовись, пожалуйста. Да нет — не отзовется.
Ну и делать нечего. Проживём и так.
Из огня да в полымя. Где тонко, там и рвется.
Палочка-стукалочка, полушка-четвертак.*

Стихотворение начинается перечислением, нанизыванием образов, на первый взгляд, выражающих лишь захлебывающуюся нежность к жене. Во второй строфе вдруг появляется фраза «чулочком задуши». Заканчивается стихотворение как будто случайными образами: «палочка-стукалочка, полушка-четвертак». И отчего «нет, не отзовется», раз стихотворение — это обращение к жене, как это видно из посвящения? И откуда такой трагически-безысходный тон в стихах, начинающихся, как очень личное лирическое послание?

Лирический сюжет стихотворения сводится к двум эпизодам, отличающимся единством пространства, времени и действия: эпизод «зова», сфокусированный на ключевом образе кукушечки как на объекте, и эпизод «отказа», в котором фокус переносится на субъект, на самого лирического героя. Таким образом подчеркивается его обособленность, экзистенциальная покинутость. Смысл такого раздвоения лирической ситуации состоит в «без-ответности», «бессмысленности» жизни лирического героя.

Зачин «Отзовись, кукушечка» — ключ ко всему стихотворению. В мифологическом представлении кукушка владеет сокровенным знанием о сроке человеческой жизни. Дважды повторенная просьба отозваться, обращенная к кукушечке — попытка узнать свою судьбу, напоминание самому себе (и своей героине) о скорой смерти. Кроме того, кукушка у славянских народов — символ печали¹. Кукушка ассоциируется с вестью о смерти.

Может быть, поэтому вторая строка и начинается с образа «весточка». Таким образом, мы можем выделить первую

¹ А. А. Потебня в своей работе «О некоторых символах в славянской народной поэзии» приводит сербское поверье о том, что в кукушку обращена сестра за излишнюю печаль об умершем брате.

смысловую, составляющую большинства образов этого стихотворения — связь со смертью, и шире, с *утратой*: кукушечка, змееныш — образ змеи трансформируется затем в «душащие» образы ленточки, веревочки, чулочка, сохраняющее, связывающее их смысловое ядро — гибкость, протяженность, возможность обвить, затянуть.

Кстати говоря, тут вспоминается и стихотворение Николая Гумилева, посвященное Одоевцевой, где фигурируют «кольца огневеющей змеи», снежинка, которая тает, превращаясь в ручеек — тот же смысл утраты. Образом «нежности последыш» утверждается единственная оставшаяся ценность в жизни героя.

Метелочка — тоже символ бренности сущего. Сравним с другим стихотворением Георгия Иванова «Торжественно кончается весна...»:

*...Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной земли?
А впрочем, соли всюду грош цена:
Просытали — метёлкой подмели.*

То, что у Державина «вечности жерлом пожрется», у Иванова смахивается метелочкой. Обратим внимание и на близость «уцененных» автором образов — «грош» и «метелка». Видимо, отсюда тянется цепочка ассоциаций к «полушке-четвертаку».

Кукушечка — это еще и символ собственной *души*, двойника лирического героя, это с ней он пытается вступить в диалог, просит спасти от смерти, привязать, придать ценность кончающейся жизни.

Выражения «Из огня да в полымя», «Где тонко, там и рвется» имеют, во-первых, прямое значение как характеристика положения героя — «попал из плохой ситуации в худшую», «найден его слабое место». Речь, вероятно, опять же о скором приближении смерти, о страхе перед нею.

Он осознает свою бренность, и в этом для него нет ничего нового. Он и жизнь свою оценивает невысоко — «полушка-четвертак» ей цена.

В стихотворении «Отзовись, кукушечка», проговариваемом «сниженным» голосом разочаровавшегося поэта, при внимательном *вслушивании* проявляется скрытый от поверхностного взгляда спор лирического героя с самим собой, утверждающим ценности жизни и любви.

Молчащая кукушечка оборачивается недостижимым символом бессмертной души. За «пустяками» угадывается «вечность». За приземленными подробностями — идеальный пласт человеческого существования.

Всем своим строем стихотворение призвано передавать ощущение двойственности, разорванности бытия, и трещина эта, вполне согласуясь с мировой поэтической традицией, проходит через личное «Я».

Во многих стихах Георгия Иванова, созданных в эмиграции, интонация, мелодика, *музыка* является доминантой, а семантика слов отходит на задний план. Освобожденная от высокого смысла *игра* как доминирующий принцип «нового» искусства — метод, органически не приемлемый для поэта, воспитанного на «классических» образцах поэзии Пушкина, Лермонтова, Анненского, Блока.

В последние годы жизни Георгий Иванов намеренно отказывается от *стиля* как от авторской метки, искусственно-го приема, знака технического мастерства, чтобы приблизиться к *сути поэзии*.

Претерпевает изменения даже сам образ лирического героя. В стихах пятидесятих годов он максимально приближен к обыкновенному человеку, всего лишь одному из многих («Стозначный номер помню свой»).

Поэзия Георгия Иванова последних лет — это попытка высказать *последнюю* правду — напрямую: истинная музыка, освобожденная от одежд стиля, метафор и рифм, доходит до нас без искажений. Может быть, поэтому писать «под Иванова» почти невозможно.

«Не верь словам, верь музыке», — учит своего читателя Георгий Иванов.

Наталья Белинкова-Яблокова

Обыкновенная история Людмилы Лукомской

*... хвастаться нам нечем, а говорить
о своей жизни тошно. О работе еще
тошнее. Все на точке замерзания,
даже не на точке, а на многоточии.*

В. Кардин.

Из личного письма.

Россия — США. 1993 год

Название книги Людмилы Лукомской — «Частная история» — вызывает в памяти «Обыкновенную историю» писателя Гончарова. Каждая история по своему типична для того времени, в котором жили и писали авторы. И каждая занимает свое особое место в контексте современной автору литературы.

В чем заключается особое место «Частной истории» Людмилы Лукомской?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется мысленно отделить личную судьбу писательницы от биографии ее литературного персонажа, потому что на самом деле автор и героиня в данном случае одно и то же лицо.

И тут возникает некоторая сложность, потому что биография реального лица, ставшего прототипом в литературном произведении, и история жизни персонажа этого произведения не всегда и не обязательно совпадают. Тут уж ничего

не поделаешь. Жизнь складывается. Литературное произведение — выстраивается.

История, рассказанная в книге Лукомской, автобиографична, что и подчеркивается ее названием. Мы читаем о личных переживаниях автора периода молодости, а так же о муже и дочери, решившихся эмигрировать из страны в момент относительного профессионального и личного благополучия.

История эмиграции этой семьи типична. В книге Лукомской рассказывается о массовой эмиграции из социалистической страны — мощном движении девяностых годов — слабо отраженном художественной литературой.

Как и индивидуальная история каждого из нас, случай Людмилы Лукомской легко подверстывается к мемуарной литературе о критических событиях в нашей стране: революции, гражданской войне, коллективизации, Отечественной войне, ГУЛаге, оттепели, побед и поражений в завоевании космоса — точно так, как частная жизнь каждого из нас вписывается в бытие земного обитания человечества.

Исходу девяностых предшествовал звездопад знаменитостей семидесятых. Уже тогда стало ясно: иллюзорная «оттепель» не оправдала надежд. Советская граница была еще на замке. Воспользовавшись, кто заграничными командировками, кто гастролями, — писатели, артисты, художники оставались на Западе в надежде обрести творческую свободу. Их называли «невозвращенцы». Других, лишая советского гражданства, власть выдворяла насильственно.

На Западе получили убежище:

Светлана Аллилуева — в 1967 году не вернулась из разрешенной поездки в Индию на похороны мужа и обосновалась в США; Шемякин — в 1971 году выслан из СССР во Францию; Бродский — в 1972 году практически выброшен из СССР, обосновался в США; Синявский — в 1973 году остался во Франции, будучи приглашенным в Сорбонну; Барышников — в 1974 году остался на Западе после гастролей в Канаде; Солженицын в 1974 году выслан из СССР, обосновался

в Вермонте, США; Ростропович — в том же году получив выездную визу, перешел на положение «невозвращенца».

Всех опередил Ашкенази — еще в 1963 году он принял решение не возвращаться в СССР после гастролей в Лондоне.

Почти у каждого за плечами был довольно серьезный повод: или цензурные ограничения — в литературе, музыке, балете — или уже испытанные длительные сроки заключения в тюрьмах и лагерях — за пересылку рукописей за границу, за распространение самиздата у себя в стране, за участие в демонстрациях в защиту заключенных. Тогда говорили: «Посадить? Была бы статья, а причина — найдется».

Были и более опасные и экстравагантные случаи, особенно в конце Второй мировой войны, когда беженцы «голосовали ногами» на свой страх и риск. Но вернемся к нашим дням.

В девяностых годах был снят пограничный шлагбаум для желающих уехать из Советского Союза насовсем. Началась массовая эмиграция. Состав решившихся покинуть свою страну расширился и изменился. Считается, что цифра-максимум выехавших в девяносто пятом году составила примерно сто тысяч человек.

Уезжали не только литераторы и художники — *лирики*. Уезжали творческие работники в области технических наук — *физики*. Под давлением развивавшегося экономического кризиса уезжали «*простые советские люди*».

Одни спешили избежать возможных или воображаемых ночных гостей, тюрем и психушек. Другие устали стоять в очередях за продуктами. Потенциальные диссиденты уезжали, поверив, что «голоса» дадут им больше свободы, чем подпольные письма. Творческие люди уезжали, чтобы избежать идеологического давления и бюрократических препон. Родители уезжали, чтобы воссоединиться со своими детьми, уехавшими раньше их.

Реальные причины и смутные опасения, по которым советские граждане стали покидать Советский Союз повально, целыми семьями, до сих пор оставались белым пятном в мемуарно-документальной литературе. Пресса сосредото-

чивалась на знаменитостях. Этот пробел в значительной степени восполняет своей «Частной историей» Людмила Лукомская.

Хотя в ее книге говорится о чувствах преимущественно *одного* человека, об истории исключительно *одной семьи*, читатель воспринимает судьбу действующих лиц ее документальной повести не как частную историю того времени, а как типичную. Ведь уже давно, с шестьдесят второго года — год публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — было принято на вооружение емкое значение слова *один*.

Семья в «Частной истории» состоит из Павла Таубе — талантливый «свободный» художник, имеющего успех, однако, не в своей стране, а за границей; его жены Маши — молодого научного работника, которому не дают ходу на родине, и их дочери, решившейся первой навсегда уехать из России. Истинным причинам отъезда дочери и материнским волнениям, вызвавшим эмиграцию всей семьи, посвящены последние главы книги.

Итак, все укладывается в известную теперь схему: сначала уезжают дети, устраиваются, а потом приезжают родители и семьи воссоединяются. Работы Таубе висят в музеях разных стран и получают восторженные отзывы. Муж и жена открывают художественную школу для одаренных детей. Судьба дочери в конце концов складывается счастливо. Выставки работ художника проходят с успехом и все увенчивается международной, очень престижной выставкой во Флоренции, участвовать в которой Павел приглашен после тщательного отбора приемной комиссии.

Счастливый будто бы конец.

Персонажи «Частной истории» списаны с реальных людей, до эмиграции проживавших в Харькове. Павел Таубе — это известный теперь художник Павел Тайбер, а Маша — Людмила Лукомская, автор «Частной истории».

Реальную семейную историю она превращает в типичную при помощи простого, но выразительного приема. Настоящие имена действующих лиц заменены другими. Людмила, — в

быту Люся — названа Машей, а Павел Тайбер — Павлом Таубе. Рассказ ведется от третьего лица.

О, какую это дает свободу автору в осмыслении своих поступков, как правильных, так и ошибочных! Ведь о других судачить легче, чем открывать свое, потаенное, не правда ли?

Людмила откровенно рассказывает как будто бы о Маше, а на самом деле о себе: о первых влюбленностях, о неудачном первом замужестве, о провалах по работе в результате собственных ошибок, о начальственных интригах. С легким украинским юморком Людмила повествует не только о самой себе, но и о своих друзьях, и о своих недругах. Она еще молода и неопытна, не умеет хорошо разбираться в людях.

К счастью, ее неудачи тонут в жизнерадостном восприятии жизни. Соответственно и манера повествования яркая, декоративная, живописная: *«В выходные дни ... заплывали на лодке в плавни. Солнечные лучи едва пробивались сквозь зеленые заросли. Не нарушая царящую здесь прохладу, рассыпались узорными бликами по воде, по загорелым телам двух лодочников, высвечивая сине-зеленых стрекоз и спящих в воде рыбешек».*

Приходит время становления характера. Маша взрослеет, переосмысливает свои отношения с жизнью, свойственная ей восторженная доверчивость сменяется опасливой пастороженностью. В доме вновь приобретенных друзей — бывших политических заключенных — она знакомится с художником Павлом Таубе. Хозяева показали ей работы Павла. Маше они показались талантливыми. Но в своем отношении к художнику она еще не разобралась.

Поначалу Маше все, ну абсолютно все в нем не нравится. Он неразговорчив, торопливо ест, слишком уж независимо себя ведет и, главное, весело-насмешливо обращается с нею, красивой женщиной, привыкшей к мужскому вниманию. Молодой задор ее не вполне сформировавшейся личности разбивается о его взрослый, скептический, трезвый взгляд на жизнь.

Игра обоюдного отталкивания-притяжения написана Лукомской мастерски. Он слегка поддразнивает ее. Ей кажется — он говорит всерьез. Между молодыми людьми, еще не

осознавшими, что им предстоит полюбить друг друга, возникает отчаянная словесная борьба.

Когда поздно вечером они оба уходят от гостеприимных хозяев и Павел в прихожей неловко подает даме пальто, Маша окончательно теряет терпение, а Людмила с появлением второго главного героя меняет и средства повествования. Теперь большое значение придается диалогу.

Маша (язвительно): Вы очень любезны.

Павел (серьезно): Обычно я никому не прислуживаю...

Маша (встыхнув): Сожалею, что Вам пришлось пожертвовать своим временем ради меня.

— Обоюдное молчание —

Маша (старается говорить резко): Не надо меня провожать!

Павел (в его голосе ей слышится насмешка): А я иду отпереть дверь.

Маша (ничего не отвечает, в голове ее проносится): «Печенег, дикарь, обормот, неандерталец, неотесанный гений».

Происходит то, что укладывается в известную формулу классической русской литературы: «коса и камень, вода и пламень». Противоположности сходятся. Маша и Павел поженились. У них растет дочь. В жизни Маши — литературного героя и Людмилы — автора истории произошел первый крутой поворот.

Вторым будет эмиграция...

Течет время, в стране истаивает оттепель. Надежды на обновление не осуществляются. Справляться с жизнью все труднее и труднее. Людмила, а соответственно, и Маша, становятся старше, мудрее и скоро им предстоит принимать решение об отъезде из России. Язык повествования Людмилы Лукомской меняется, становится сдержаннее, жестче, крепче, круче, короче и емче.

«Необычайное наступило время.

Мир бурлил... Рухнул «Союз нерушимый»...

Непонятное наступило время.

Не было ни гражданской войны, ни вторжения, ни беженцев, ни эвакуации. Не было ночных «гостей» с обысками, арестами, «воронками» и расстрелами в подвалах. Никто не выгонял, а люди уезжали...

Тревожное было время.

Продавались квартиры... Какие книги появились у букинистов!

...уезжали в неизвестность... Но и те, кто оставался, тоже не были уверены в завтрашнем дне.

Печальное было время».

Вместо нежной скрипки слышна барабанная дробь.

Людмила (хотя и прикрываясь Машей) обнаруживает редкое качество человека, который пишет о себе без прикрас и умолчаний и с большим юмором рассказывает о своих ошибках. В этом ей помогает великолепная художественная выдумка. Она смело и виртуозно пользуется старой как мир метафорой — «розовыми очками».

Сначала она надевает их на свою героиню охотно и часто. Временами даже предупреждает об этом читателя: «Маша надела розовые очки». Чаще всего это случается при изображении юношеских восторгов или несбывшихся ожиданий.

У автора точное чувство меры. Почувствовав, что пора снизить пафос повествования и рассказать, как все было на самом деле, Лукомская эти волшебные очки с Маши демонстративно снимает.

Взрослея, Маша пользуется ими все реже и реже. Прекрасная находка! Но, может быть, помимо воли автора, метафора говорит о большем? О постоянной раздвоенности советского человека, которому как оборотню приходилось становиться то частным лицом, то членом коллектива? Говорят же, что герои литературных произведений иногда бывают прозорливее своих создателей.

Случай одной семьи, «Частная история» стала *первой* книгой о *глубинных причинах* массового исхода мыслящей и

относительно благополучной части населения России девяностых годов,

Одного этого было бы достаточно, чтобы выделить ее и поставить на особенное место среди книг об этой волне эмиграции.

К счастью, заслуга особенного места в литературе не исчерпывается тем, что книга «заполняет пробел». Ее интересно читать. Людмила Лукомская не ограничивается личными воспоминаниями об эмиграции своей семьи. Она поднимает свой, казалось бы бесхитростный рассказ, до уровня документальной повести. Вся книга отличается строгим и четким отбором важнейших событий в жизни действующих лиц, мастерством композиции, присутствием познавательного материала, сформировавшего характеры ее героев и тем самым определившего их судьбу, краткостью и выразительностью в описании внешности и поведения действующих лиц.

Не Маша с ее удивительными розовыми очками, а Людмила Лукомская нашла настоящий волшебный ключик. Это — редкостный, доверительный и откровенный голос автора.

Визуальным связующим звеном между жизнью *до* и *после* отъезда — стала обложка «Частной истории», на которой помещена репродукция одной из лучших картин Павла Тайбера, созданных им через несколько лет после эмиграции.

На картине изображен довольно углый челн, перегруженный старыми полотнами художника и его «воспоминаниями»: тут и образцы традиционного русского искусства и излюбленный персонаж его ранних произведений — мальчик в шутовском колпаке. Морские волны несут кораблик без парусов, суденышко плывет со сломанной мачтой неведомо куда, а на борту сидит доверившийся судьбе создатель этих полотен.

Мы-то знаем, что все в конце концов устроилось, но, должно быть, художник хочет подчеркнуть, что сам он еще в пути. Он все еще ищет чего-то в краю далеком, нам обывателям неведомого... «В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи...». Мы-то знаем, что бросил он в краю родном и даже догадываемся, что он ищет в краю далеком.

И мы знаем, что постоянное, непреходящее удивление художника перед красотой и загадочностью мира не скудеет.

У нас есть этому масса доказательств: выставки работ живописца в разных городах Европы и Америки, большой спрос на его картины у покупателей, а так же восторженные отзывы рецензентов.

Работы Павла Тайбера не остались незамеченными. Критики отмечают, что в них переплелись и яркая зрелищность, и философская мысль, и подкупающее лирическое начало. И ищут подходящего названия для художественного направления, к которому можно причислить его работы.

И, наконец, как будто победа! Через шестнадцать лет после того, как семья обосновалась в Соединенных Штатах, Павел Тайбер получил почетное приглашение — участвовать в престижной международной выставке Биенале во Флоренции.

Это событие — композиционный пик «Частной истории» Людмилы Лукомской.

Но в ее изображении этот пик не выглядит апофеозом карьеры художника. Это удивляет, хотя мы уже привыкли к тому, что и Маша, и она сама частенько стали предпочитать розовым очкам голую правду: медалей были удостоены полотна на злобу дня — ни взять, ни дать — политические плакаты. «Зал переполнен. На огромном экране — черно-синяя лошадь с розовым херувимчиком на спине, ...затем экран заполняет что-то невнятно серое... И вот, наконец, живопись. Три огромных головы в фас, в три четверти, в профиль — один и тот же мужчина в красной феске...». Так коротко и жестко, почти протокольно, описывает она работы медалистов выставки и с горечью цитирует откровенное признание ее организаторов: «Это политика и бизнес». Предполагаемый триумф оборачивается сатирой. Похоже, что розовые очки вышли из употребления.

И тогда вдруг обращаешь внимание на то, что из рамок сюжета «Частной истории» выпала жизнь Павла и Маши в новой для них стране.

Чем же были заполнены их шестнадцать эмиграционных лет?

Каждый, кто знает Людмилу и Павла, без сомнения ответит: *трудом и творчеством*. Это условия создания произведений искусства.

Людмила утверждает, что они живут в *царстве игры и видимости*. Это сфера деятельности художника.

На выставке им дали понять, что *политика и бизнес* с одной стороны, и *игра и видимость*, с другой — две вещи несовместные.

В остатке мы имеем труд и творчество.

Павел Тайбер обошелся без политики и бизнеса — счастливо избежав влияния социалистического реализма в России и политической корректности в Америке.

Наш современник, он награжден редким даром созидания «вторичной» реальности, *видимости*.

Шутя и *играя* он преподносит нам, то надевших игрушечные бумажные колпаки мальчиков, которые внимательно всматриваются в нас; то показывает одновременное отражение двух пространств до неузнаваемости искаженных стеклом — заоконного и домашнего, создавая некое третье; то вопросительно застывших перед зрительным залом актеров, ожидающих после темпераментного представления реакции невидимых нами зрителей; то *кого-то* неизвестного и загадочного, который смотрит на нас через прорези маски и вынуждает поеживаться; то висящий в ночном небе одинокий полумесяц, по форме вызывающе схожий с изображенным на том же полотне с розовым, сочным ломтем арбуза (со всеми своими семечками!), который так и хочется съесть.

Удивительное взаимодействие предметов и фигур плоского полотна с живыми посетителями выставок, разглядывающими произведения художника. Как в театре!

Павел Тайбер — еще и сказочник. В его живописном царстве «и лес и дол *видений* полны». Того и гляди, там найдешь или избушку на курьих ножках, или следы *невиданных* зверей. Его нескончаемый вихрь сказочно-реальных образов неотделим от корней, глубоко уходящих в народное творчество. Это источник, которым в живописи питались Шагал и Фальк, а в литературе — Пушкин и Гоголь.

Павел Тайбер еще не обследовал все живописные возможности изображения *бытия*. На последних его полотнах увидишь и *пространство* без границ и горизонта, и *время*, оста-

новившееся на мгновение, и стремительное *движение* на неподвижном холсте.

Так и плывет художник в своем челне к неведомым берегам искусства. Открытия новых возможностей — неисчерпаемы.

Все это Людмила со знанием дела поясняет и показывает на выставках Павла. Иногда она расскажет о том, что послужило импульсом к созданию той или иной картины. К примеру, обратит внимание на теплый пар, поднимающийся над хрупкой чайной чашечкой, помещенной художником в бескрайнем, холодном, синем небе, и вспомнит, какое удовольствие получили оба, выпив горячего чая после ранней прогулки по прохладному калифорнийскому берегу.

Но в ее «*Частной истории*», в царстве *реальности и конкретности* действительность изображена под другим углом зрения. Законы жанра, избранного Людмилой Лукомской, нарочито подчеркнутые названием книги, не впустили на свои страницы экзистенциальное искусство Павла, стремительно развивающееся в Америке.

Обоих художников — живописи и слова — придется нам судить по законам, ими самими созданными.

Описывая жизнь Маши и Павла Таубе в Америке, Людмила Лукомская еще не заполнила большой пробел во времени — от их приезда по сегодняшний день. Из двух измерений — *правды факта* и *правды вымысла* — она выбрала правду факта, добавив третье: *правду молчания*.

Народная пословица говорит: «Молчание — золото». Хочется надеяться, что мы когда-нибудь прочитаем вторую часть «*Частной истории*». Может быть, под другим названием. Может быть, на этот раз мы узнаем о совместных трудах, творчестве и триумфах обоих художников — писательницы и живописца.

А может быть, Людмила Лукомская — кто знает? — найдет другие очки и даст волю проснувшемуся в ней сатирическому отношению к жизни. И тогда только держись!

Монтерей. 2011 г.

USA

Коротко об авторах

Агеева Людмила Евгеньевна, прозаик.

По образованию физик: закончила физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук.

Рассказы, повести, эссе печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Нева», «Вопросы литературы» и других.

Книга прозы «В том краю» издана в Санкт-Петербурге в 2006 году. Роман «Тонкий слой» опубликован в «Зарубежных записках» в 2009.

Проза Л. А. переведена на немецкий, итальянский, голландский языки.

Живет в Мюнхене (Германия).

В ГРАНЯХ в № 239 опубликован ее рассказ «Не плачь, я тебя спасу».

Белинкова-Яблокова Наталия Александровна родилась в Москве.

В 1953 году окончила отделение русского языка и литературы Московского государственного университета им. Ломоносова. Работала учительницей в средней школе, на кафедре русской классической литературы в Литературном институте им. Горького, заведовала редакционно-издательским отделом в Московском полиграфическом институте, была литературным редактором журнала «Москва», редактором отдела на телевидении.

В 1968 году вместе с мужем, Аркадисом Белинковым, покинула СССР, получив политическое убежище на Западе.

Читала лекции в Йельском университете и колледже в Миддлбери, преподавала русский язык в других американских учебных заведениях, выступала на литературные темы на радиостанции «Свобода» и «Голос Америки».

Печататься начала с 1957 года. Рецензии и статьи по вопросам современной русской литературы опубликованы в «Новом мире», «Знамени», «Литературной России», а также в альманахе «Мосты»

(США); журналах «Современник» (Канада); «22» (Израиль); «Время и мы» (США); «Звезда» (Санкт-Петербург); в газетах «Новое русское слово» (США); «Русская мысль» и «Le Monde» (Франция).

Участник Международной лондонской конференции по советской цензуре, на основе стенограммы которой издана книга *The Soviet Censorship* (США).

Редактор основанного Аркадием Белинковым сборника «Новый колокол».

Живет в США.

В журнале ГРАНИ в № 189, № 201, № 217 опубликованы главы из рукописи будущей книги «Распря с веком».

В а с и л ь е в Глеб Казимирович (1923—2009).

Родился в Коломне. Мать — Наталья Аркадьевна — урожденная Вяземская. Отец — поляк из древнего рода Арцышевских.

Сдав экстерном выпускные экзамены, поступил в 1939 году на физический факультет Московского государственного университета, откуда, в связи с эвакуацией, перешел в 1942 году в Московский станкоинструментальный институт.

Осенью 1945 года на пятом курсе был осужден по статье 58 «за антисоветскую пропаганду» и отправлен по этапу в Северо-Печерский лагерь, на, так называемую, «стройку 503-ю». После пятилетнего отбытия срока, имел «поражение в правах» и в течение трех лет работал слесарем в Южном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву.

Автор публикаций в ГРАНИХ №№ 181, 182, 184, 189, 191, 219, 224, 229: «Неужели все это было правдой?», «Встречи с Ю. А. Казарновским», «История Тифлисского альбома Николая Гумилева», «Проза, насыщенная электричеством памяти», «Земля обетованная», «Встречи с Анастасией Цветаевой», «Никки», «Подаренный нам Коктебель».

В о р о б ь е в Олег Александрович родился в Москве в 1966 году.

Окончил в 1989 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а в 1995 — Академию Народного Хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации.

Консультант Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

Занимается исследованиями в области современной истории, в частности, «сменовеховским» движением.

Публиковался в «Независимой газете», журналах «Исторический архив», «Государственная служба» и других.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 192) читатель, благодаря О. В., познакомился с перепиской (1920–1922) Н. В. Устрялова и кн. Л. В. Голицыной, в № 201 с фрагментами «Переписки Н. В. Устрялова с разными людьми», письма хранятся в коллекции Н. У. Архива Гуверовского Института войны, революции и мира при Стенфордском университете в Калифорнии (США); в № 209 с материалом «Психологические мотивы сменевеховства».

В № 217 опубликовано его политическое эссе «Ксенофобия как осознанный выбор», в № 220 — «Мир изначально добр, в нем нет зла», в № 225 «90-летию Октября посвящается...»

Ев с е в Борис Тимофеевич родился в 1951 году в Херсоне.

Профессиональный музыкант. В 1971 году окончил Херсонское музыкальное училище по классу скрипки. С 1971 по 1974 учился в Институте им. Гнесиных. В 1995 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

Уже в двухтысячные годы получил диплом журналиста. Работал в «Литературной газете», «Книжном обозрении», главным редактором в издательстве «Хроникер».

Автор нескольких сборников стихов, а также книг прозы: «Баран», «Отреченные гимны», «Власть собачья», «Русские композиторы», «Узкая лента жизни», «Романчик», «Площадь Революции», «Чайковский» и другие.

Лауреат Бунинской и Горьковской литературных премий; премии «Венец», Национальной Артистической, «Нового журнала» (США), журналов «Октябрь», «Литературная учеба», Фонда «Русское исполнительское искусство». Финалист «Русского Букера».

Переводился на английский, арабский, голландский, немецкий, литовский, польский, турецкий, эстонский и другие языки.

Профессор Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ, Москва), руководит мастерской прозы.

Им прочитаны курсы лекций: «Русский роман XIX и XX веков», «Русская сентиментальная и романтическая повесть XIX века», «Русский рассказ XX века», «Композиция в художественной прозе», «Современный русский рассказ».

Член Исполкома Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы и Союза российских писателей.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

о. Владимир З е л н с к и й . Православный священник, философ, богослов.

Родился в Ташкенте, в эвакуации, в 1942 году.

С 1943 жил в Москве. Окончил филфак МГУ.

Автор книг «Взыскья лица Твоего», «Наречение имени», «Открытие Слова», «Приходящие в церковь» и других.

Активный участник множества международных религиозных форумов, конгрессов, конференций. Его перу принадлежат сотни статей по самым смелым богословским и одновременно остро современным вопросам.

Пишет по-русски, по-французски, по-итальянски и по-английски. С 1991 года живет в Италии. Служит в г. Брешия (Северная Италия). Преподает в местном университете.

В ГРАНЯХ опубликован богословский материал «Детство и царство» в №243–244 («Тарусские страницы»).

Жирмунская Тамара Александровна — современная писательница, автор двенадцати книг, вышедших в Москве, среди которых сборники лирических стихов: «Район моей любви», «Забота», «Нрав», «Праздник» и другие.

Ее избранные стихи, мемуарная проза и повесть «Вместе со светом» вошли в книгу «Короткая пробежка» (2001).

Недавняя работа Тамары Жирмунской — беседы о Библии и русской поэзии за три века: «Я — сын эфира, Человек» (2009).

Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

Лауреат премии Союза писателей «Венец» в номинации поэзия. Живет в Мюнхене (Германия).

В «ГРАНЯХ» в № 215 опубликовано ее литературное эссе «Дальние и ближние голоса», в № 227 «Мы — счастливые люди» — о писателе Юрии Казакове, в № 231 «“Ты”, которое стремится к “Вы”» — воспоминания о Булате Окуджаве, в № 233 эссе «Раненый жемчуг» о встрече с поэтом Валерием Перелешиним; в № 238 «Спасти шмеля».

Коржавин (Мандель) Наум родился в 1925 году в Киеве. Печататься начал в 1941 году.

В 1944 году, приехав из эвакуации в Москву, поступил в Литературный институт им. Горького, который ему удалось закончить лишь через пятнадцать лет. В 1947 году, будучи студентом третьего курса, он был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и проведя восемь месяцев во внутренней тюрьме на Лубянке, был отправлен на поселение в Новосибирскую область. Отбывая ссылку в Караганде, окончил там Горный техникум.

В 1954 году амнистирован, в 1956 реабилитирован.

Во время первой «оттепели», в пятидесятых — начале шестидесятых годов публикуется в периодике, принимает участие в знаменитом сборнике «Тарусские страницы» (1961), а в 1963 году выходит в свет первая и единственная при советской власти изданная на

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

родине книга стихов «Годы».

Находясь в вынужденной эмиграции Н. К. издал еще два сборника своих произведений — «Времена» (1977) и «Сплетения» (1988).

Итоговый поэтический сборник стихов и поэм увидел свет в издательстве «Художественная литература» лишь в 1992 году.

Автор пьес и многих статей по литературе в журналах «Новый мир», «Грани», «Континент».

Живет в Бостоне (США).

К о р н и л о в а - Б а с о в а Ирина Борисовна. Родилась в Ленинграде.

Выросла в Крыму, в Москве окончила биологический факультет университета.

В 1980 году вместе с мужем и детьми эмигрировала из СССР во Францию.

С 1982 по 1992 год работала редактором и состояла членом редколлегии газеты «Русская мысль» (Париж).

Ее стихи в разные годы были напечатаны в журналах «Нева», «Неман», «Грани», в альманахе «День поэзии». Автор двух поэтических сборников, вышедших в Санкт-Петербурге в 1994 и в 2003 годах, и книги «Римский дивертисмент», изданной в Вероне (Италия).

Как журналист и эссеист публикуется во французской и русской периодической печати.

Дочь русского поэта Бориса Корнилова, погибшего в сталинских застенках.

Живет в Париже.

В ГРАНЯХ №229 опубликовано ее литературное эссе «Поэт и эмиграция», в №230 поэтическая подборка «...И символы неясные любви».

П о с т н и к о в а Ольга Николаевна — поэт, прозаик.

Окончила Институт тонкой химической технологии. Участвовала в реставрации сооружений Московского Кремля, памятников тверского зодчества, античных руин в Крыму.

Автор нескольких поэтических книг. Стихи, проза публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Континент», «Грани».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ (№ 221) опубликован ее материал «Портрет в смешанной технике», в №№ 241—244 («Тарусские страницы») поэтический цикл.

Т р у ш к и н а Анна Васильевна родилась в 1972 году в Иркутске в семье знатока сибирской литературы, профессора Василия Прокопьевича Трушкина.

Окончила филологический факультет Иркутского государствен-

ного университета.

В 2004 году в Литературном институте им. Горького защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Особенности поэтического мира Георгия Иванова 1920-1950-х годов».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Фишман Виктор Петрович родился в Днепропетровске в 1934 году.

В 1957 закончил Днепропетровский горный институт, инженер-геофизик. Работал в Донбассе на шахтах, опасных по взрыву газа и пыли.

С 1960 по 1990 занимался изучением блуждающих токов и защитой подземных сооружений от коррозии. Автор около тридцати патентов и авторских свидетельств, кандидат технических наук.

Первые публикации появились в научно-популярных журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» в 1978 году.

С 1996 года постоянно живет в Германии, в Мюнхене. С этого времени печатается в русскоязычной прессе Америки, Израиля, Германии.

В 2001 году в Днепропетровске в издательстве «Интеграл» вышел роман «Формула жизни», первое художественное произведение автора.

В ГРАНЯХ в № 236 опубликован его материал «Узник в спасительной гавани».

*Читайте
в следующем номере:*

Юрий КАРЯКИН
«Бывают странные сближения...»
Гойя — Достоевский

Игорь ЧУБАЙС
Какою Россия была?
Каков реальный образ исторической России?

Обреченная на жизнь
*Отрывок из трилогии писателя
Валерия Иванова-Таганского*

Тамара СЕМЕНОВА-БЕНИНИ
Константин Паустовский

Стихи
Николая СУНДЕЕВА

и другие материалы

ОБРАЩЕНИЕ

Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции, литературной молодежи и студенчеству стран Европы, Америки, Азии и Австралии

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этим людям не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2013 году от Р.Х.

За 2012 год вышли №№ 241, 242, 243 и 244 («Тарусские страницы»), которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

grani.08@mail.ru

Принимаем заявки на подписку 2013 и 2014 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 06.02.2013. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 150. Заказ № 4.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Академика Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28, 978-35-99. Тел./факс: 330-89-77

www.ikar-publisher.ru

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2013
№245, №246, №247 и №248**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ T.Zhilkina
17. Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА K. Troosh
600 Fifth Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.

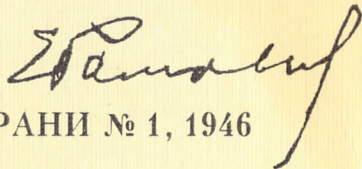
Каждый человек –
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть –
совершенствуется целое.

Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.

А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, –
Слову Правды.

Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.



ГРАНИ № 1, 1946